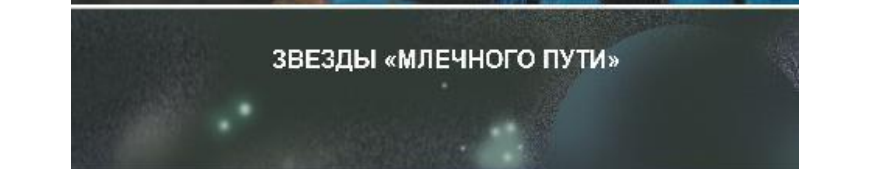


The top half of the book cover features a surreal, painterly illustration. It depicts a deep, dark canyon with steep, reddish-brown cliffs. In the distance, a small white house with a red roof sits atop a dark, rounded hill. The sky is a vibrant blue, filled with numerous soft, white, cloud-like shapes, some of which have small green trees growing on them. The overall style is reminiscent of classic children's book illustrations.

ПАВЕЛ АМНУЭЛЬ

ИМЯ ТВОЁ...

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

The bottom half of the book cover features a dark, starry night sky. Several bright, out-of-focus stars or distant galaxies are visible, creating a sense of depth and cosmic wonder.

ЗВЕЗДЫ «МЛЕЧНОГО ПУТИ»

Павел Амнуэль

Имя твоё...

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3746065

Аннотация

Женщина смотрела на меня, будто со старой выцветшей фотографии, улыбалась и думала о том, что немного уже осталось ждать, скоро мы будем вместе, сначала ненадолго, а потом навсегда, но ведь и «всегда» тоже минует, потому что закончится время, а у вечности совсем другие законы... В тот миг я точно знал, что случилось: меня позвала, наконец, вторая половинка моей души, и значит, все, что я делал прежде, было не напрасно.

Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	11
Глава третья	18
Глава четвертая	36
Глава пятая	52
Глава шестая	78
Глава седьмая	91
Глава восьмая	100
Конец ознакомительного фрагмента.	107

Павел Амнуэль

Имя твое...

Глава первая

Мне плохо спалось в ту ночь. Было не очень жарко, хамсин, продолжавшийся почти неделю, закончился, и вечером с холмов потянуло прохладным ветерком, а по небу поползли облака странной формы, похожие на длинных скрученных змей с расплюснутыми хвостами. Лег я рано, потому что ощущал тяжесть в голове, все плыло перед глазами, я устал, прошедший хамсин иссушил мысли, и, сидя перед экраном компьютера, я не мог заставить себя придумать ни одной путной фразы.

Окно было раскрыто, легкая занавеска шевелилась, будто в комнату пытался проникнуть призрак, под тонким одеялом мне было прохладно и хотелось спать. Глаза закрывались, но сон не шел. Мне казалось, что я лежу на спине и смотрю в потолок, хотя я знал, что на самом деле все не так, и то, что я видел, было игрой дремотной фантазии. Именно фантазия, которая на самом деле является игрой в реальность, нарисовала на белом – черном в темноте комнаты – потолке портрет женщины.

Я и сейчас помню в деталях, как шевелилась под ветром

занавеска, как тикали часы на письменном столе, как свет взошедшей луны измазал желтым пол у окна. Помню, как пытался отделить воображаемое от реального, и лунный свет – от шедшего из глубины души желания разглядеть тайный смысл в бликах, плясавших на плитках пола. Помню даже карандашную линию, проведенную кем-то по ножке стола – я никогда прежде не обращал на нее внимания, а сейчас видел отчетливо, несмотря на призрачную темноту. Но самого важного я не запомнил совершенно: лица женщины. Широкое или узкое? Светлое или смуглое? Короткой была ее стрижка, или волосы волной ложились на плечи? Была женщина молодой или старой – даже этого я не мог сказать с определенностью.

Женщина смотрела на меня, будто со старой выцветшей фотографии, улыбалась и думала о том, что немного уже осталось ждать, скоро мы будем вместе, сначала ненадолго, а потом навсегда, но ведь и «всегда» тоже минует, потому что закончится время, а у вечности совсем другие законы. Это были не мои мысли, я не мог так думать, мне казалось, что мысли, как тяжелые капли дождя, падали на меня с потолка, и потому я решил, что это думала женщина, лицо которой терялось и возникало вновь.

Я хотел задать банальный вопрос: «Кто ты?» Даже когда понимаешь, что имеешь дело с собственным воображением, хочется определенности – имени, профессии, места нашей будущей встречи. Вместо этого я спросил – или думал, что

спросил: «Зачем?»

Удивленная мысль была мне ответом. Действительно, я ведь спрашивал себя и сам мог легко догадаться, что в вопросе не содержалось ни малейшего смысла. Спросить «зачем?» у восхода. Или у звезды, вспыхнувшей над горизонтом после того, как багровый от смущения солнечный диск провалился в расселину между двумя вершинами.

Я понял нелепость вопроса и спросил – зная, что только сам и смогу ответить: «Как тебя зовут?» Зовут? Кто? Только я мог назвать эту женщину по имени, поскольку сам и вообразил ее в полудреме отсутствия.

Я отвернулся к стене, зарылся носом в подушку и провалился в пропасть без дна, куда и падал до самого утра, пока меня не привели в чувство звуки мусороуборочной машины – реальные до полного отчуждения. Пока я падал – продолжалось это гораздо больше времени, чем его могло содержаться в одной-единственной короткой летней ночи, – имя женщины падало передо мной, я ловил его в ладонь и выпускал, потому что оно ускользало, я ловил его опять и только в эти мгновения был способен произнести вслух. Испугавшись раздавшегося с улицы грохота, оно ускользнуло окончательно, и я проснулся.

В тот миг я точно знал, что случилось: меня позвала, наконец, вторая половинка моей души, и значит, все, что я делал прежде, было не напрасно.

Когда-то я был физиком, причем довольно успешным. Я давно об этом забыл – настолько, что если кто-нибудь спрашивает меня о профессии, я, не задумываясь, отвечаю: «литератор». Пишу статьи, очерки, иногда эссе, рассказы, а однажды написал роман, сделавший меня на короткое время известным в довольно узком круге почитателей жесткой научной фантастики, давно вышедшей из употребления, поскольку современный читатель, как объяснил мне как-то очень серьезный редактор в крупном московском издательстве, предпочитает мистику и ужасы, а также тайны несуществующих миров, где Добро борется со Злом, и герои уничтожают друг друга с помощью мечей и заклинаний. «Нет, – сказал я тогда, – это не по мне. Должно быть, я принадлежу другой эпохе». «Прошедшей», – уточнил редактор, и я не стал спорить. То, что прошло, возвращается вновь. Нужно только продолжить свой путь, чтобы оказаться там, где хочешь быть, и стать тем, кем всегда хотел. Правда, ждать чаще всего приходится долго, и жизнь заканчивается прежде, чем становится видна цель. Но это неважно, я никогда не забывал фразы из романа моего любимого Роберта Льюиса Стивенсона: «Дорога к цели, полная надежд, отрадней самого прибытия».

Моя дорога к цели началась еще в те годы, когда я не

представлял себе, что стану зарабатывать на жизнь, публикуя в газетах очерки и статьи, не имевшие к моему истинному призванию ни малейшего отношения. Я работал в биофизической лаборатории большого научно-исследовательского института, название которого чисто по-советски было столь громоздким и бессмысленным, что запомнить его мог только тот, кому за это специально платили. Наш директор, к примеру, всегда произносил название без запинки и с удивлявшей всех сотрудников гордостью за наши научные достижения, существовавшие лишь на бумаге, терпевшей все со свойственной всем бумагам безропотностью. Попал я в лабораторию случайно, и образование имел, с биологией не связанное – если верить диплому, я был специалистом по физике высоких энергий. Если бы кто-то спросил меня самого, я сказал бы, что и физика высоких энергий тоже не та область науки, в которой я ощущал себя, как рыба в воде. Что я действительно хорошо знал, умел и в какой области всю сознательную жизнь стремился работать – астрофизика, теоретическое исследование далеких звезд и звездных систем. Парадокс заключался в том, что в университете нашего города астрофизике не обучали, а физический факультет выпускал специалистов по физике высоких энергий, потому что когда-то неподалеку начали строить синхрофазотрон, и предполагалось, что новому научному центру потребуются сотни молодых специалистов. А потом оказалось (вот что значит социалистическое планирование), что выгоднее строить

синхрофазотрон вблизи от Москвы, а не от нашего захолустного научного центра, и выпускаемые университетом специалисты остались не у дел. Точнее, занялись другими делами.

Мой случай был особым. Я любил небо и мечтал изучать звезды. Но астрономического факультета в нашем университете не существовало от века, ехать в столицу я не мог – не было у моих родителей столько денег, чтобы отправить сына учиться за тридевять земель, – пришлось стать физиком-теоретиком. А тут канул в Лету проект синхрофазотрона, и в результате – не сразу, правда, – я оказался в институте с труднопроизносимым и не запоминающимся названием.

Так началась моя дорога к цели, полная надежд. Это было давно, я вспоминаю о прошедших в институте годах лишь тогда, когда в какой-нибудь газете просят написать статью о будущем падении астероида или о расшифровке человеческого генома. Я пишу, это не трудно, но мне не хочется этого делать, потому что с моих пальцев на клавиши стекают в эти минуты совсем другие слова, и я боюсь, что текст, который оседает в памяти компьютера, окажется не таким, каким я вижу его на экране. Я боюсь, что компьютер, как существо высшего, непонятного мне порядка, воспринимает не только механические удары по клавишам, но и мысленные указания хозяина – как собака, которой можно сказать «к ноге», а подумать при этом «фас!», и она бросится на незваного гостя вопреки, казалось бы, очевидно высказанному приказу.

Боюсь, что мысли мои сумбурны, и читатель, даже если он

достаточно терпелив, уже начал нервничать и думать, пробегая строки наискосок: «О чем, собственно, речь? О женщине? О призвании? О компьютере-телепате? В чем смысл рассказа?»

А в чем смысл человеческой жизни? Пусть тот, кому это доподлинно известно, ищет ясный смысл во всем, что выходит из-под пера, или в изреченной мысли, или в каждом слове, выкрикнутом во время долгой и бесплодной дискуссии. Я пишу не для них, а для тех, кто еще не прибыл к цели и для кого дорога все еще полна надежд.

Я пишу для себя.

Глава вторая

Я поднял голову с подушки, как поднимают с дороги тяжелый камень, мешающий движению транспорта. Не хочется, но надо – иначе не проехать. Поднять и отбросить в сторону, чтобы не мешал. С камнем это почти всегда получается, с головой – почти никогда. Мне пришлось нести эту тяжесть на плечах сначала в душ, потом к окну – я хотел убедиться, что разбудившая меня мусороуборочная машина уехала, наконец, восвояси, – а затем в кухню, где от аромата крепкого кофе, смешанного с запахом сохнувшего на окне букета полевых цветов, моя голова стала еще тяжелее. Не было смысла садиться к компьютеру и писать положенную порцию утреннего текста – я был способен сочинить лишь эпитафию на собственную могилу, что-нибудь вроде: «И он с тяжелой головой улегся в землю, как живой».

В принципе я знал, что должен был делать, уж не настолько я забыл собственные расчеты десятилетней давности. С другой стороны, все в моей жизни так изменилось за прошедшие годы, что я не очень понимал, какое ко мне нынешнему имеют отношение дела и идеи человека, жившего в восемьдесят восьмом году в научном городке в трех тысячах километров от столицы советской родины. Сейчас уже и родины не было, а сам я жил на съемной квартире, из одного окна которой в ясный день можно было увидеть белый ку-

пол Хермона, а из другого – блестящую гладь Тивериадского озера, оно же Галилейское, оно же Генисаретское, оно же Кинерет. И до начала нового, третьего тысячелетия оставался всего год с небольшим.

Кофе горчил, я добавил сахара, попробовал и вылил эту бурду в раковину. Потом отправил в мусорное ведро букет, стоявший на окне уже неделю, – цветы принесла Лика, поддавшись предчувствию, изначально не имевшему шансов оправдаться.

Избавившись, таким образом, от всех своих утренних обязанностей, я полез под кровать и вытянул на белый свет покрытый пылью чемодан, купленный со вторых рук, когда я готовился уезжать из родного города. Чемодан оказался с секретом. Уже в Израиле, на первой моей съемной квартире я распаковывал вещи и обнаружил в чемодане двойное дно. Нет, это был не тайник, в котором контрабандисты, владевшие чемоданом прежде меня, переправляли через границу наркотики. Всего лишь отошла по шву материя, прикрывавшая внутреннюю сущность этого вместилища подержанных вещей. Если не очень присматриваться, то невозможно было заметить, что чемодан обладал дефектом. Но для знающего – а с некоторых пор я принадлежал к этой категории – чемодан становился тайником, где можно было спрятать рукопись или фотографию, или даже донесение шпиона о положении дел на израильско-сирийской границе. В этот своеобразный карман я положил тогда несколько листов с изложением соб-

ственных выводов, которые и без того знал наизусть. Потому и спрятал – мне они были ни к чему, а другим о них знать не следовало.

Стерев пыль с чемодана, я откинул крышку и принялся выкладывать на пол старую одежду, еще советских времен, которую таскал с квартиры на квартиру, видимо, исключительно как возможные экспонаты музея советской моды восьмидесятых годов. Надевать эти брюки, суженные книзу, или модный в те годы «клубный пиджак» я не собирался, даже экипируясь в последний путь. Но и выбрасывать не хотел из чувства, должно быть, бессмысленной и беспорядочной ностальгии.

Тайник был под нижней поверхностью, я оттянул потертую подкладку и вытащил листы, до которых не дотрагивался несколько лет. Мне даже показалось вначале, что написанный моей рукой текст изменился – такими незнакомыми выглядели буквы, сложенные в слова, никогда вроде бы мною не произнесенные. «Биохронологическая последовательность», «генетическое прогнозирование подсознательного», «трансформ сознания», «волновой пакет личности», «полиморфная структура вселенных» – какая вакханалия определений, напоминание о юности, мечтах, цели и дороге, полной надежд.

Кое-как побросав обратно вещи, я закрыл чемодан, посидел на нем, утрамбовывая содержимое, запер и пропихнул на прежнее место – под кровать. Сел за компьютер и поло-

жил листы на клавиатуру. Почему-то мне казалось, что на одной из страниц я найду словесный портрет той, кто являлась ко мне нынче ночью. Я быстро просмотрел лист за листом – мог и не делать этого, мысль была изначально глупой, и я это прекрасно понимал.

Вернувшись к первой странице, я прочитал «Родственная душа – определение ненаучное и неверное», и в этот момент, как всегда неожиданно и не ко времени, зазвонил телефон.

Поднимая трубку, я уже знал, что именно услышу. Почему-то я узнавал Ликин звонок еще до того, как слышал в трубке ее голос. По дыханию? По каким-то иным, сугубо материальным, но не сразу воспринимаемым признакам? Или все-таки существовала какая-то телефонная аура, передаваемая не по проводам, а иным способом – от мозга к мозгу?

– Привет, – сказала Лика.

– Привет, – ответил я. – Как дела?

Пустой диалог, повторявшийся каждый день. Правда, обычно Лика звонила мне после полудня, прекрасно зная мой распорядок дня и не мешая творить тексты, которые она потом с показным упоением читала, приговаривая: «Ах, как хорошо, Веня! Особенно фраза про политических динозавров».

– Все нормально, – торопливо отозвалась Лика и, предвзято мой вопрос, сказала:

– Я почему звоню в такое время... Я не помешала?

Женская логика – сначала мешать и знать об этом, а потом

спрашивать.

— Говори, — вздохнул я, давая понять, что, конечно, да, помешала, но раз уж я подошел к телефону, то нечего заострять на этом внимание.

— Нас отправили в отпуск, — зачастила Лика. — Совершенно неожиданно. Нет заказов. На неделю — до следующего воскресенья. И я подумала, может, мы с тобой куда-нибудь съездим? Вдвоем? Мы так давно никуда не ездили вдвоем, Веня! Это было бы так здорово...

Сама не замечая, Лика перешла на просительный тон, и я поспешил ответить именно так, как она ожидала — в конце концов, не первый год мы были знакомы и стали друг для друга вполне предсказуемы, как прогноз синоптиков о дожде, когда первые капли уже упали на протянутую ладонь.

— Это было бы здорово, — сказал я, — но мне нужно сделать статью в «Пикник» и очерк для «Востока», ты же знаешь. Это вам хозяин платит за простой, а мне за отсутствие материала не заплатит никто... Давай пойдем вечером в кафе?

Я специально задал этот вопрос как бы невзначай, будто идея пришла мне в голову неожиданно, и Лика, не успев подумать, ответила, как ей действительно хотелось:

— Давай.

Подумав, она решила бы, что меня имеет смысл помучить за мой отказ куда-нибудь с ней съездить, я хорошо знал характер моей подруги.

— Значит, встретимся в шесть на обычном месте, — заклю-

чил я и, быстро попрощавшись, положил трубку. Для верности вытянул из гнезда телефонный провод – имею я, в конце концов, право на уединение хотя бы в свое всеми признанное рабочее время?

Странные у нас с Ликой складывались отношения. Как говорят в подобных случаях: «встретились два одиночества». Я приехал в Израиль один, а Лика – с мужем, который здесь, почуяв, должно быть, воздух свободы, буквально через месяц сбежал от нее с молодой репатрианткой, порвавшей, в свою очередь, со своим кавалером. Лика пыталась травиться, но слишком любила жизнь и потому правильно рассчитала дозу снотворного. Ее откачали, и с тех пор она, по ее словам, возненавидела мужчин, которые все такие сволочи. Почему-то ее ненависть не распространилась на меня, когда в небольшом кафе мы случайно оказались за одним столиком. Думаю, окажись на моем месте другой мужчина, последствия были бы ровно такими же. Лика устала от одиночества, я к нему не мог привыкнуть, хотя был, по сути, одинок всю жизнь. Мы болтали о пустяках, потом гуляли по вечернему городу, я проводил Лику домой. А дальше...

Рассказывать об этом не имеет смысла – было, как у других, меня наши встречи устраивали, потому что стали отдушиной, а Лика все воспринимала слишком серьезно и с некоторых пор поговаривала о том, что надо бы нам съехаться, она бы подавала мне в постель кофе и даже при случае родила бы ребенка. И вообще.

Возможно, я сам поощрял Лику на подобные мысли, когда говорил не те слова, что звучали в моем сознании. Это ведь так естественно: думать одно, говорить другое. Иногда говоришь очень даже правильные и, в принципе, нужные слова не потому, что хочешь сказать именно это, а для того, чтобы снять раздражение – собственное или собеседника. Или потому, что понимаешь: таких слов от тебя ждут, зачем же обманывать ожидания, тем более, что ничего плохого Лика мне не сделала, а хотела не так много – человеческой ласки.

Конечно, по большому счету, произнося слова, за которые даже перед собой не нес никакой ответственности, я предавал и себя, и Лику, и, вполне вероятно, нарушал некий порядок в природной гармонии, за что должен буду непременно ответить, когда придет срок – в природе всему приходит свой срок, я это знал куда лучше, чем Лика, принимавшая мои слова на веру, но верившая им только поверхностью сознания, тонкой корочкой, воспринимавшей самые простые жизненные истины. Наверняка, будучи женщиной, она понимала в глубине души и мою в ее отношении необязательность, и бессмысленность слов, произносимых только тогда, когда не произнести их было чрезвычайно трудно. Возможно, Лика страдала – я не замечал этого по очень простой причине: мы не были созданы друг для друга, и потому понимать друг друга были не в состоянии.

Мы с Ликой не были родственными душами.

Глава третья

"Родственная душа – определение ненаучное и неверное».

Это было напечатано поверх какого-то другого текста, замазанного типексом. Я всмотрелся, пытаюсь разобрать, что там было написано прежде, даже пальцем провел по строчке, но вспомнил только то, что в те давние годы типекс был материалом дефицитным, купить его можно было только в Москве, да и то не во всяком магазине канцтоваров, а в нашем институте это замечательное изобретение административной мысли появилось, когда наш директор побывал в Амстердаме на каком-то симпозиуме и привез сто (кажется, сто, но может – больше) баночек и передал их в канцелярию для демонстрации, как он тогда выразился, истинных масштабов нашего отставания от мировой системы коммуникаций.

"Родственная душа – определение ненаучное и неверное».

Работал я тогда, впрочем, совсем над другой темой, о которой в газетах не сообщали. И не только в газетах. Попробуй я написать статью о результатах своих исследований в академический журнал «Вопросы биологии», и наша экспертная комиссия наложила бы «вето», прочитав одно только название. Я и не пробовал. Писал квартальные отчеты и сдавал их старшему научному сотруднику Вишнякову, собиравшему подобные опусы от всех работников нижнего звена и объединявшему эту бодягу в единое целое с названием

«Отчет о научной деятельности лаборатории высокочастотной биоморфологии за такой-то квартал такого-то года».

Приехав в Израиль, я пытался устроиться в биофизическую лабораторию Тель-Авивского университета. По словам знакомого физика, уже получавшего стипендию из министерства абсорбции, у меня не должно было быть проблем: степень есть, диплом есть, вполне достаточно. Оказалось – нет. Оказалось, нужно представить комиссии список научных публикаций. Какие публикации, господа? За годы работы в институте я не опубликовал в открытой печати ни одной статьи, а ссылаться на квартальные отчеты было бессмысленно – я не мог положить на стол ни одного оттиска с моей фамилией на первой странице. Даже если бы мне удалось невозможное, и я выкрал из сейфа замдиректора по науке экземпляр годового отчета, это никого не убедило бы в моем личном участии – ни одна фамилия, кроме руководителя лаборатории, в отчетах не упоминалась.

"Как же так? – спросили у меня – Столько лет работы, и ни одной публикации? Хм..."

Когда говорят «Хм...», спорить невозможно. Спорить имеет смысл, если говорят: «Тут у вас неправильная ссылка на восьмой странице». В ответ на «Хм...» можно сказать только одно: «Извините, так получилось». Я даже и этого не сказал – забрал документы и расстался с надеждой продолжить свои исследования в замечательных лабораториях лучшего на Ближнем Востоке университета. Позднее, кстати, я

понял, что, даже получив стипендию, все равно вынужден был бы заниматься не тем, чем хотелось мне, а тем, что было бы нужно руководителям кафедры, лаборатории, факультета – быть на подхвате, на побегушках. Лучше уж писать статьи в газеты – там была моя фамилия, мои мысли, мое «я», практически не пришибленное редакторской правкой.

«Родственная душа – определение ненаучное и неверное».

Это я написал в самом конце, а началось с проблемы глубоко практической. Чем мне придется заниматься в институте с длинным названием, я узнал после того, как подписал в первом отделе множество бумаг и два месяца, пока шла проверка «по линии ГБ и Минобороны», проработал в лаборатории биофизики мозга – единственной, куда допускали не только неофитов вроде меня, но даже репортеров местной газеты, приходивших в восторг от множества красивых приборов и аппаратуры, загромоздившей помещение, но абсолютно неработоспособной. Я перебирал бумаги, разгадывал кроссворды и, наконец, дождался: мой будущий шеф, доктор Артюхин вызвал меня в кабинет и сказал, приглядываясь:

«Пришло на вас “добро”. В смысле – допуск».

Допущен, как оказалось, я был к работам по оболваниванию населения. Нет, это я так, для красного словца. На самом деле все было очень научно, я вовсе не хочу сказать, что Артюхин и его сотрудники занимались глупостями. Тема в любом случае была интересной. Дело ведь не в самой

проблеме, а в том, как использовать полученные результаты. Расщепление атомного ядра – это, как известно, и атомная бомба, и атомная электростанция. А в лаборатории Артюхина занимались влиянием излучений на функции человеческого мозга. Каких излучений? Всяких – электромагнитных в первую очередь. Одно время говорили о влиянии на мозг излучения нейтрино, но тема заглохла, поскольку оказалась интересной только с теоретической точки зрения.

Я перевернул страницу – пожалуй, читать следовало именно отсюда. Вот: «Масса электромагнитного пакета, зафиксированная в опыте Артюхина-Болеславского, составляет в первом приближении $2,4 \cdot 10^{-12}$ грамма с ошибкой измерения $\pm 10\%$ ».

Опыт Артюхина-Болеславского. Следовало бы написать наоборот. А еще правильнее вообще убрать фамилию шефа, оставив одну – мою. Как же глубоко проникло в мое подсознание нелепое чинопочитание, если даже в документе, написанном исключительно для собственного пользования, я не решился хотя бы переставить местами фамилии!

Да, пакет мне тогда удалось зафиксировать самому, я показал шефу лабораторный журнал, и Дмитрий Алексеевич взволновался, перечитал написанное несколько раз, решил сам проверить все данные, опыт пришлось повторить и, естественно, результат оказался нулевым, о чем я предупреждал шефа заранее.

«Уберите, – сказал Артюхин. – Все это глупости».

Подтасовками и подделкой мы не занимались никогда. Отрицательные результаты – тоже результаты, их в любом исследовании, тем более таком сложном, как исследование человеческого мозга, гораздо больше, чем побед.

«Уберите, понятно? – повторил шеф, видя мое замешательство. – Не хватало только, чтобы на нас навесили еще и эту тему!»

Вот чего он боялся – не результата или его отсутствия: он не хотел взваливать на себя ответственность. Одно дело – излучения. Сплошная рутина: фиксация-импульс-показания-выводы, и так изо дня в день. И для отчета нормально, и для дела – все-таки за долгие годы именно таким методом Артюхин сумел нащупать диапазон «зомбирования», и еще за год до моего появления в институте здесь начали серийно выпускать для каких-то не ясных никому целей приборы СВЧ-н-Зк или «свинки», как их называли сборщики. «Свинка» могла заставить человека забыть, чем он занимался минуту назад, могла внушить ему, что он должен совершить некое действие, этому человеку не свойственное – но даже и речь не шла о том, чтобы реципиент поступил так, как нужно индуктору. Да, он поступал нестандартно, неправильно, странно – но спонтанно, непредсказуемо, и потому, по моему мнению, в работе гебистов, для кого, как я думал, все это предназначалось, «свинка» могла только навредить. Но это были «их» проблемы, я в это не вмешивался, да они меня и не касались, меня к ним никто бы и допускать не стал.

Помню, как я аккуратно извлек из лабораторного журнала лист – на оборотной его стороне содержались данные, которые нужно было сохранить, и я переписал их аккуратным почерком. А лист забрал домой – это было, конечно, нарушение, и если бы в первом отделе узнали о моем проступке (а кто бы им сказал? Шеф? Он меньше меня был заинтересован в разглашении информации), то я бы вылетел с работы с волчьим билетом, а то и с еще более крупными неприятностями.

Вот этот лист, пожелтевший уже, будто пролежавший в стопке век или больше – на самом деле прошло двенадцать лет, и желтизна бумаги говорила лишь о ее плохом качестве.

Я разгладил лист, нежно провел по нему ладонью, у меня было такое ощущение, будто я ласкаю свою первую женщину – нет, с Ирой я не был так обходителен, как с этим листком. С Ирой все было просто, а то, что написано на листе, изменило мою жизнь.

В тот день я почему-то решил заняться «выбиванием тараканов», хотя по программе эксперимента значилась проверка влияния сверхвысокочастотного излучения на лобные доли испытуемого. Указывались диапазон, мощность, поляризация, еще несколько переменных параметров, которые нужно было фиксировать. А испытуемым был Никита Росин, парень веселый, но к своему здоровью относившийся наплеватьски – каждый раз, когда он подписывал продление договора, ему объясняли все, как говорил шеф, «негативные

последствия влияния излучения на функции головного мозга», на что Росин отвечал, не задумываясь: «А фиг с ним. Денежки идут, мозги шевелятся, что еще человеку нужно?»

– Что-то я сегодня плохо спал, – пожаловался Никита, усаживаясь в кресло и удобнее пристраивая ложементы. – Наверно, сказываются негативные последствия.

Это у него была шутка такая, наверняка он вчера вечером перебрал пива, до которого был большой охотник, а ночью бегал в туалет – не первый случай и далеко не последний.

– Пить надо меньше, – пробормотал я такую же дежурную фразу и налепил на виски Никиты датчики томоскопа. Если бы он не сказал того, что сказал через секунду, все пошло бы по накатанной колее, мне не пришлось бы выдирать из журнала лист, а представления мои о любви, душе и вообще о жизни так и остались бы на уровне простого советского обывателя.

Никита поморщился, когда холодная присоска защемила ему кожу над ухом, и сказал:

– Каждый раз такое впечатление, будто душу из меня отсасываете.

– Да? – сказал я равнодушно, не придавая пока этим словам никакого значения. – И что, много уже отсосали?

– Ох, много, – вздохнул Никита. – Я почти не помню о том, кем был в прошлой жизни.

– Не понял, – сказал я. – А что, раньше помнил?

– Конечно, – Никита говорил так, будто действительно

был в этом уверен. – В прошлой жизни я был дружинником у князя Владимира. Я тебе скажу: это было ужасно. Я и вспоминать не хотел, а оно все перло. Как меня батогами... Ох... А я этого секирой по плечу, и кровищи... Ужасно боюсь крови, а когда сам... Нет, честно, хорошо, что эту гадость вы отсосали, теперь я только кое-что помню, самую малость.

Я сел перед Никитой на табурет и спросил:

– Ты это серьезно?

– Дурацкий вопрос, – обиделся Никита. – Я что, по-твоему, могу придумывать?

Придумать он действительно ничего не мог, фантазия у человека равнялась нулю, именно потому его и допустили к опытам: когда он описывал свои ощущения, можно было однозначно сказать, что он дает объективную информацию.

– И когда ты понял, что был дружинником?

– Когда... Хрен его знает. Давно.

– Еще до того, как начал работать в лаборатории?

– Нет, конечно, – удивился Никита. – Примерно через месяц. Когда эсвече начали давать... Нет, чуть позже. Когда второй диапазон пошел.

– Почему молчал? – с досадой сказал я. – Ты что, не понимаешь, как это важно?

– А чего я должен понимать? Ты спрашивал? У меня в договоре что написано? Пункт шестой: «Четко отвечать на вопросы исследователя, проводящего эксперимент». И Дмитрий Алексеевич всегда говорил: «Ты, Никита, со своими

комментариями не лезь, никому это не интересно, говори то, о чем спрашивают». Я что – дурак, такую работу терять?

– Не дурак, – согласился я, мысленно обозвав Никиту всеми известными мне нецензурными словами.

Вот странно: я прекрасно помнил сейчас, много лет спустя, тот колючий, дерганый диалог, но совершенно забыл обо всем, что думал сам. Скорее всего, я ни о чем и не думал – включилась интуиция, то, о чем мечтает любой исследователь: ломаешь голову без толку, и вдруг – вспышка, толчок, и ты уже знаешь решение, хотя, как собака, не в состоянии объяснить, просто понимаешь, что сделать нужно так и так, а почему – потом разберемся. Это физика: если известна цель, если ты ее уже достиг, то провести до нее путь, полный надежд, – дело теоретика, и интуиция у него своя, вот пусть и мучается.

– Знаешь что, – медленно произнес я, стараясь не упустить мысль, – сегодня мы не будем заниматься эсвече. Ночь у тебя была не очень, результат потом пересчитывать... Попробую выбить пару тараканов. Ты только не дергайся, если будет колоть.

"Выбивать тараканов" – термин не научный, но пользовались мы им повсеместно, кроме, конечно, отчетов. Возник термин еще до моего появления в лаборатории, и я точно не знал, что стало тому причиной. На тараканов излучаемые мозгом волновые пакеты были так же мало похожи, как Никита Росин – на русского интеллигента, каким он, по идее,

должен был считаться. Прадед его был известным в городе врачом, дед – юристом, он погиб в конце тридцатых, год смерти так и остался неизвестным, а отец, школьный учитель, замечательный человек, которого уважали даже откровенные враги, умер недавно от страшной болезни, буквально в несколько месяцев съевшей его мозг. Говорили (это были, конечно, слухи, но ходили они очень упорно и, вероятно, имели какое-то отношение к действительности), что, когда Олег Михайлович умер и было произведено вскрытие, патологоанатом пришел в полное недоумение: место под черепной коробкой занимала опухоль, похожая по форме на небывалый цветок с двенадцатью лепестками.

Никита, видимо, унаследовал гены матери – женщины достаточно примитивного склада ума, взбалмошной и поедом евшей своего тихого и безответного супруга. Лаборатория мозга оказалась для него последним пристанищем – он потерял работу в котельной, откуда его уволили за пренебрежение обязанностями: он мог, например, оставить котел без присмотра и отправиться с приятелями на рыбалку, поскольку был большим любителем подледного лова.

– А без тараканов нельзя? – капризно сказал Никита, когда я менял уже прилепленные датчики. Для снятия волновых пакетов использовалась другая система.

– Нельзя, – отрезал я. Чтобы мозг излучил в пространство волновой пакет в нужном для исследователя диапазоне, в лаборатории применяли довольно варварские методы возбуж-

дения: кололи, например, за ухом длинной иглой, чтобы попасть в определенную точку, расположенную под черепной коробкой на глубине полутора сантиметров. Результаты получались интересные, но трудно поддававшиеся расшифровке. Структура пакета и его содержание представляли собой записанную эмоцию или мысль – так предполагали теоретики, но доказать это удалось пока лишь для очень ограниченного числа записанных структур. Больше всего расшифровок приходилось, между прочим, на долю излучений именно Никиты Росина – должно быть, в силу примитивности его мыслей.

Сейчас, много лет спустя, я уже не помнил, почему рассказ Никиты о его якобы пробужденной инкарнации заставил меня перейти к записи волнового пакета. Не собирался же я на самом деле выяснять, насколько правдивы были его слова! Волновой пакет – «таракан», как мы его называли, – мог содержать любую эмоцию и обрывок мысли, а расшифровкой его структуры все равно занимался не я, мне таких сложных задач не поручали. Кстати, не только тогда, но и впоследствии.

Должно быть, я решил, что есть смысл «выколотить таракана», чтобы проверить реакцию возбужденного мозга на вопросы о воспоминаниях, рассказанных Никитой. А может, мысль моя была иной – не помню. Как бы то ни было, я провел блокаду, усилил напряжение, вывел аппаратуру в рабочий режим, стерилизовал иглу – в общем, завершил стан-

дартную процедуру и сделал укол.

Обычная реакция реципиента – расширение зрачков, будто волновой пакет распространяется через глаза, и конвульсивные подергивания пальцев, продолжающиеся две-три секунды. Организм возвращался к норме очень быстро, энцефалограмма не показывала никакого последствия, а на осциллограмме оставались столь сложные кривые, что понять этот всплеск мозгового излучения удавалось лишь на несколько процентов, которые затем и становились содержанием отчетов.

Сначала Никита отреагировал так же, как обычно, – зрачки расширились, а пальцы сжались. В следующую секунду...

Следующую секунду я и сейчас помнил так, будто она тянулась двадцатилетней подсознательной лентой, магнитофонной записью, повторявшей себя в себе самой и не желавшей сама с собой расставаться.

Никита, смотревший прямо перед собой, неожиданно повернул голову, и наши взгляды встретились. Мне показалось, что в черных круглых оконцах зрачков что-то происходило, какое-то движение, чьи-то тени, и какой-то мерцавший все быстрее и быстрее свет, привлекавший к себе, как привлекает маяк.

Я что-то сказал – не помню что. Никита улыбнулся – не своей улыбкой, он был не в состоянии улыбаться так искренне и открыто.

А потом...

Потом я увидел ее. Сначала взгляд и улыбку – будто Чеширский кот говорил мне: «Неважно куда идти, все равно куда-нибудь да придешь». И повторил: «Дорога, полная надежд...»

Из улыбки и взгляда возникло лицо – проявилось, как фотография: сначала блеклая краснота губ и голубизна глаз, а потом странный овал, и вот уже девушка смотрела на меня, чуть склонив голову, и руки были протянуты вперед, тонкие пальцы почти касались моей головы, я инстинктивно дернулся, и картинка задрожала, а потом сфокусировалась опять, девушка стояла передо мной – и я знал, что никогда не смогу полюбить никого другого. Не потому, что не видел прежде такой красоты, я не думал о том, что девушка красива. И не потому, что девушка смотрела на меня так, как не смотрела никакая из моих подруг. Со всей очевидностью аксиомы и твердостью рожденного в вулканическом аду природного алмаза я понял, что вижу половину собственной души, ту, что была отторгнута от меня при рождении, как это происходит со всеми душами, вынужденными потом всю сознательную жизнь искать себя-второго.

Девушка перестала улыбаться, теперь она смотрела печально, и мне стало страшно, как никогда в жизни, – я понял, что, найдя друг друга, мы сейчас расстанемся вновь. Может быть, навсегда. Скорее всего – навсегда.

Я сделал шаг и протянул руку, чтобы коснуться ее пальцев. Я что-то сказал и что-то услышал в ответ. Но время от-

кровения закончилось, девушка то ли смутилась, то ли ощутила чье-то чужое присутствие, а на самом деле – если говорить терминами физики – волновой пакет, сгусток электромагнитного излучения, миновал центры моего восприятия и впечатался в блок памяти фиксирующей системы, связанной с большим компьютером, большим, конечно, по тем временам, а по нынешним – так просто дорогой игрушкой, не способной удержать столько информации, сколько было необходимо хотя бы для повторного восприятия явления, не говоря уж о понимании его сути.

Девушка исчезла, оставив ощущение счастья, такое острое, что, когда бедняга Никита, постанывая от боли, начал отлеплять от висков датчики, я не сразу пришел в себя – ведь это означало из светлого мира, где я был самодостаточен, где мой путь был завершен, а все жизненные цели достигнуты, вернуться в мир душевной пустоты и несоответствия мыслей поступкам, а желаний – возможностям. Когда я все-таки заставил себя немалым усилием воли осознать происходившее, Никита уже стоял с обрывками проводов в руках и говорил монотонным голосом:

– Больно... Больно... Больно...

Я думал, он станет сопротивляться. Нет – Никита позволил уложить себя на кушетку, я дал ему выпить ту гадость, которую мы обычно давали слишком возбуждвшимся во время записи реципиентам, и он затих, глядя в потолок бессмысленным взглядом, а потом закрыл глаза и, казалось, за-

снул. Я подобрал провода, отключил аппаратуру, проверив предварительно, полностью ли зафиксирован волновой пакет, и сел в ноги у Никиты – не потому, что жалел парня, просто у меня неожиданно начали подгибаться ноги, а тело сотряс озноб, будто температура в комнате упала до арктической.

Девушка... Господи... Я не знал, как ее звали, не знал, как это видение было связано с волновым пакетом, излученным мозгом Никиты Росина, человека, не имевшего со мной решительно никаких родственных или иных связей. Не знал, существует ли эта девушка на самом деле, или я видел отраженное в чужих зрачках собственное подсознательное представление о счастье.

Я попытался вызвать в памяти ее лицо и понял, что, увидев еще раз, непременно узнаю – среди тысяч, среди миллионов, среди всех жителей планеты, – но представить, будто она улыбается мне сейчас, я не мог. Было ли это лицо широким или узким? Смуглым или светлым? Какой могла быть моя вторая половина? Родственная душа, отделенная от меня и желавшая соединиться вновь?

– Ч-черт, – сказал Никита, тяжело поднявшись. – Ты сегодня того... Будто из меня кусок мяса выдрал. Это не таракан, это целый бык. Совесть у тебя есть?

Не помню, что я ответил. Нужно было заполнить бланк, чтобы Никита мог получить деньги за сегодняшний опыт, и я, видимо, это сделал, потому что впоследствии никто не

говорил, что я нарушил какие-то правила. Никита ушел, а я...

Я тоже ушел – немного позднее. Работать в тот день я не мог. Что-то происходило со мной – ощущение было таким, будто я поднимался и опускался на невысокой волне, а в глубине что-то рождалось, стремилось к поверхности и застывало. Потом это прошло, и даже больше – на какое-то время воспоминание о случившемся исчезло из памяти. Была физическая усталость, будто я не опыт проводил в тот день, а шпалы таскал, причем бессмысленно, как Сизиф – я переносил их в одно место, а они вдруг оказывались на прежнем. Помню, я вернулся домой в полном отупении и весь вечер смотрел телевизор – это было занятие, которое я в те времена ненавидел, считая пустой тратой времени. Что происходило днем? Я не помнил. Опыт? Да, наверное. Кто был реципиентом? Кажется, Никита, но это я уже помнил неточно. Что происходило? Да ничего! Сначала я хотел вспомнить, потом забыл о своем желании.

Придя на следующий день в институт, я, конечно, обнаружил и протокол эксперимента с Никитой, и запись в памяти компьютера, восстановил в памяти основные детали – о девушке не вспомнил, поскольку эта сторона случившегося не была зафиксирована. Но рассказ Росина о всплывших воспоминаниях, в которых он видел себя дружинником у князя Владимира, был записан слово в слово, и я, естественно, рассказал обо всем Дмитрию Алексеевичу.

Считая себя честным ученым, Артюхин вызвал Росина (пришлось ему платить по двойному тарифу за работу вне графика), и опыт был повторен в присутствии шефа – все вчерашние параметры мы воспроизвели со всей возможной для нашей аппаратуры скрупулезностью. Результат оказался нулевым – точнее, мы «выбили пару тараканов», абсолютно обычных, но ничего похожего ни на дружину Владимира, ни на иные подсознательные ассоциации, ни, тем более, на... на что? О девушке я в тот момент не помнил напрочь.

– Извини, Никита, что потревожили, – сказал шеф, снимая с Росина датчики. – У Лени возникла идея, нужно было проверить.

– Насчет того, что я рассказывал? – с любопытством спросил Никита.

– Примерно, – уклончиво отозвался Артюхин.

Когда мы остались вдвоем, шеф произнес запомнившуюся мне фразу о том, что ученый не должен поддаваться эмоциям и принимать на веру все, что рассказывают реципиенты, височные доли которых во время тестирования находятся в состоянии... В общем, не бери в голову, Веня, твое дело – фиксировать. И не нужно нам вешать на себя еще одну тему, своей хватает.

К вечеру я обнаружил, что запись вчерашнего эксперимента стерта – и не по приказу шефа, насколько мне удалось выяснить: просто на бобине не оказалось чернильной метки, какую мы всегда ставили по окончании опыта, и Максим

Струве, оператор машинного зала, полагая, что лента пуста, перетащил ее на другой блок, где оказалась сбойная память. ЭВМ у нас тогда были еще те, новые компьютеры поставили уже после моего отъезда... В общем, как это обычно бывает, – никто не виноват, но сделанного не восстановить. Будь у нас машина попримечнее – из новых, какие поставляли военным, этого не случилось бы, но в институте стояла старая, застойных еще времен, М-220, сгинувший мамонт советского компьютерного рассвета...

Глава четвертая

Листы, лежавшие передо мной на пульте компьютера, я исписал года два спустя, когда уже не работал в институте, а Ася, моя первая жена, как она выразилась, «втюхалась в другого», и мне, как человеку чувствительному и понимавшему чьи угодно чувства, кроме собственных, пришлось уйти из дома, снять комнату на другом конце Москвы и жить уединенно, потому что я в те месяцы не мог видеть никого из своего бывшего окружения. Хорошо, что с Асей у нас не было детей – впрочем, в последние месяцы у нас с Асей вообще ничего не было, и детей, естественно, тоже.

Наверное, давно нужно было перенести текст с бумаги в компьютерный файл, но у меня почему-то руки не доходили, и листы лежали на дне чемодана, корчась от времени и, должно быть, изнывая от желания оказаться полезными. Сколько я написал всякой ерунды за последние годы! Мегабайты текста. И не нашел минуты (а прежде всего – желания) перепечатать несколько листов, самых для меня на самом деле важных.

Нет, я хитрил с самим собой, а это, пожалуй, последняя стадия лицемерия – дальше некуда. На самом деле я боялся. Я даже на бумагу боялся занести свои мысли и расчеты – в тот день что-то нашло на меня, озарение свыше или наоборот, дьявольское вдохновение, я сказал себе: «Будь что

будет!» и написал за несколько минут довольно бессвязный текст с формулами, большая часть которых ниоткуда не следовала и ни о чем никому, кроме меня, не сказала бы. Написал, посмотрел написанное и тогда же, свернув листки вчетверо, спрятал куда-то... Куда? Странно, что я этого не помнил – потом, перед отъездом в Израиль я ведь откуда-то доставал эти записи, чтобы запрятать их до лучших времен в подкладке чемодана, будто наркотик, который нужно было скрыть от бдительного ока таможенника. Любопытно, что он сказал бы, тот толстяк с мрачным взглядом, если бы понял по выражению моего лица, что я вывожу из страны один из главных ее секретов, и начал бы разбираться со мной по-настоящему, и вспорол подкладку, и вытащил листы, и увидел... Наверняка решил бы, что это секретный код. Может, меня не выпустили бы вообще? Посадили в тюрьму?

Чушь. Никто не мог обнаружить то, что ни для кого не было предназначено. В этом я был уверен тогда, в этом был уверен и сейчас. Но переписывать текст в файл мне до сих пор в голову не приходило. Потому что...

Потому что не было сигнала. Потому что я ждал. Потому что, даже не думая ни о чем подобном, я знал – момент настанет.

Я взгляделся в первые строки документа, и пальцы быстро застучали по клавишам.

О своей работе в институте я когда-нибудь напишу роман. Или лучше мемуар – абсолютно правдивую историю о том, как в перестроечные годы в Советском Союзе ученые – физики и биологи – работали над проблемой зомбирования населения. Об этом писали многие, писали хорошо, писали иногда правдиво, но, читая, как некий полковник Холодов заставлял с помощью приборов огромную аудиторию в течение трех минут непрерывно аплодировать генсеку, я смеялся от всей души, понимая, что все эти опусы сочинялись в пресс-службе госбезопасности – для отвода глаз. С одной стороны, чтобы народ не думал, что в органах лопухи сидят и ничего в науках не понимают, а с другой – чтобы никто толком не знал, чем на самом деле занимались в секретных лабораториях вроде нашей. А может, все это сочинялось даже не для нашего обывателя, привыкшего не верить правде, но принимать на веру любую придуманную на потребу байку. Может, на самом деле опусы эти были рассчитаны на то, что читать их будут в восточноевропейском отделе ЦРУ, где опытные аналитики попытаются отделить зерна от плевел и сделают вывод: да, русские действительно создали прибор для зомбирования собственного населения, тщательно это скрывают, но все равно истина просачивается.

На самом деле... На самом деле после того, как у Никиты

выдавили сто сорок седьмого таракана (я на опыте не присутствовал, и потому этот эпизод в мой мемуар не войдет), бедный парень встал с кресла, потер, говорят, нос (деталь, абсолютно не имевшая значения, но повторенная почему-то всеми рассказчиками) и с неожиданным воплем: «Родимый, на кого ты нас покидаешь?!» бросился на закрытую стеклянную дверь, распорол себе осколками руки, шею и лицо, перерезанной оказалась сонная артерия, и Никита умер от потери крови по дороге в больницу. Я узнал об этом даже раньше врачей, возившихся с ним в приемном покое.

В тот день я сидел в своем закутке и писал отчет. Что-то тривиальное и не запомнившееся ни единым словом. Переворачивая страницу, я неожиданно ощутил острый укол в сердце, в пальцах возникла неодолимая тяжесть, ладони опустились на стол, ручка покатилась, и я проследил взглядом, как она упала на пол. Там, где она коснулась пятнистого линолеума, возникло лицо Никиты – почему-то в старинном шлеме с металлической стрелкой на носу, – смотревшее на меня пристальным взглядом. Губы шевелились, и я прочел, будто всю жизнь только и занимался, что читал по губам: «Веня, прости... Ухожу... Ты только ее не потеряй, хорошо?»

– Кого? – вскричал я то ли вслух, то ли мысленно.

«Ее, – сказали губы Никиты. – Свою половину»...

И все. Будто телевизор выключили. Я поднял ручку и положил перед собой. Пальцы дрожали. Я знал, что Росин

ушел. Когда ко мне в закуток заглянул Шурик Рахманов – он в тот день работал на пульте и одним из первых прибежал на дикие вопли дежурного оператора – и сказал, что с Никитой случилось несчастье, я едва удержался от того, чтобы сказать: «Знаю, он умер, верно?»

В тот момент, как я потом вычислил, Никита был еще жив. Ушел он минут десять спустя, но дрожь в пальцах исчезла лишь через полтора часа – должно быть, столько в его теле еще теплилась если не жизнь, то остаточные процессы, связанные с умиранием клеток.

Я думал, что смерть реципиента во время опыта заставит руководство пересмотреть хотя бы правила техники безопасности и отбора испытуемых. Ничуть не бывало. На следующий день, когда я пришел на работу, стекло было уже вставлено, а коврики, лежавшие перед дверью, то ли отмыли от крови, то ли заменили – никаких следов вчерашнего происшествия, будто преступник все за собой убрал, чтобы дотошные следователи остались с носом.

Какие следователи? Не было проведено даже краткого дознания. В городе – я сам слышал! – ходили слухи, будто Никита Росин с перепою решил пробить лбом стеклянную дверь. В тот день он был трезв – к экспериментам на пьяную голову не допускали.

Если бы я когда-нибудь взялся писать мемуар о том времени, то рассказал бы, как мой дорогой шеф Дмитрий Алексеевич Артюхин сказал мне на третий день после похорон

Никиты: «Любопытно, что он всем болтал о дружине князя Владимира. Такое впечатление, будто мы действительно имели дело с наследственной памятью». «Значит, он говорил это не только мне и вам? – вскипел я. – Почему не проверили? Есть методика!» «Не у нас, – прервал меня Артюхин. – И откуда вы вообще знаете о том, что такая методика существует?»

Пришлось мне заткнуться – не мог же я сказать, что читал отчет восьмой лаборатории и говорил кое о чем с Сергеем Шлемовским, работавшим в последней комнате по коридору. Как ни обеспечивай секретность, как ни закрывай друг от друга двери, окна и даже мысли, но, если работаешь в одном здании и даже в одном коридоре, поневоле что-то слышишь, что-то замечаешь, что-то попадает на глаза, а сопоставлять мы умели – как-никак, образование у всех было более чем высшее.

«Но попробовать мы ведь могли», – неуверенно сказал я, и шеф правильно понял причину моего замешательства. «У нас своя тема, – заявил Дмитрий Алексеевич, – ею и нужно заниматься. Вы закончили отчет, Вениамин Самойлович?»

«Да», – сказал я, поняв, что истина, какой бы она ни была, никому здесь не интересна.

На похороны Никиты я не пошел. Почему-то мне казалось, что именно в тот день я должен быть на рабочем месте. Я понимал, что поступаю нехорошо, многие поехали на кладбище, институт выделил два автобуса, Никита был че-

ловеком известным, ходил к нам каждую неделю, как на работу. Но меня ноги принесли в лабораторию, я не очень-то и сопротивлялся, не любил и сейчас не люблю кладбищ, могильные плиты и слова, которые принято говорить над гробом.

«Ты только ее не потеряй, хорошо?» ...

То, что со мной происходило на протяжении последовавших за смертью Никиты лет, представлялось цепью случайных, не связанных друг с другом событий. Я не всегда сознавал причины того или иного собственного поступка, но разве каждый человек не совершает в жизни такого, что потом не в состоянии объяснить с помощью логики и здравого смысла? Разве моя жена Ася могла объяснить хотя бы себе, почему «втюхалась» в Эдика Михлина, личность заурядную настолько, что мои не очень большие таланты выглядели на его фоне гениальностью Эйнштейна?

В восемьдесят девятом мне предложили новую должность – из мэнээсов в старшие инженеры в восемнадцатую лабораторию. Повышение зарплаты на сорок рублей плюс премии, которых в нашей лаборатории никогда не было. И работа, как мне намекнули в первом отделе, более интересная. Почему я отказался? Этого даже мой шеф не понял. Кажется, он был бы рад от меня избавиться. Может, своим присутствием я напоминал ему об отказе поработать с наследственной памятью Никиты. Может, если бы мы с этой памятью поработали, Никита остался бы жить – это не было логическим

заключением, такое же интуитивное впечатление, абсолютно бездоказательное, но я был в нем уверен и полагал, что Артюхин ощущал то же самое и потому не мог видеть каждый день мою физиономию. Как иначе было объяснить, что шеф ни разу после того случая не ставил меня в один экспериментальный день с собой?

Впрочем, у него могли быть совсем иные соображения. Отказавшись, я сам внес свое имя в черный список. Это было неписанное правило, выполнявшееся всегда – я не слышал, чтобы кадровики хотя бы раз нарушили традицию. За твоими работами следят те, кому по должности положено наблюдать за профессиональным ростом сотрудников, и, когда там находят, что человек готов к переходу на новую, более высокую ступень, ему этот переход и предлагают. Если сотрудник отказывается, значит, в нем ошиблись, где-то что-то неправильно просчитали, чего-то не учли – следовательно, и в дальнейшем возможны неучитываемые неожиданности. Им это надо? Не надо. Вот пусть и сидит теперь до пенсии на старом рабочем месте – все равно ничего более путного из этого сотрудника уже не получится.

Я знал несколько таких случаев. Алексей, старший лаборант из второй лаборатории, когда-то (еще в шестидесятых, когда институт только начал работать!) не захотел занять должность научного сотрудника – у него то ли отец в то время болел, то ли жена рожала, точно никто уже не помнил. С тех пор бедняга и сидел на том же месте – похоже, ему

даже стул не заменили, зачем переводить мебель на бесперспективного работника? После тех дней много воды утекло, Алексей давно осознал свою ошибку, каждый год в декабре, когда в дирекции обсуждали кадровый вопрос в связи с годовым планом, писал слезные просьбы о повышении если не в должности, то хотя бы в тарифной сетке окладов. Никакого эффекта! Ему даже не объясняли причин – сам, мол, должен понимать, правило, хоть и неписанное, но твердое, как скала.

Дмитрий Алексеевич меня не понял, но после моего отказа начал эксплуатировать по-черному. Действительно – буду жаловаться, так вообще выгонят, раз уж попал в список отказников. К тому же, человек молодой, разведенный (Ася к тому времени ушла к своему Эдику), физически здоровый. Вот Дмитрий Алексеевич и ставил меня в ночные смены втрое чаще, чем остальных сотрудников – сам, кстати, после девяти вечера никогда в институте не появлялся.

В ночь обычно проводили самые безнадежные эксперименты, требовавшие длительного времени обработки. По ночам вычислительные машины института были загружены, понятное дело, меньше, чем днем, и можно было переключить на работу в режиме сети все наши восемь «Стрел», М-400, да еще самую ценную – американскую супер (по тем временам) модель, даже название которой держалось в секрете, мы называли эту машину «Роней» по созвучию с именем тогдашнего президента Соединенных Штатов.

Чтобы не заставлять реципиентов являться по ночам (пла-

ти им потом по двойным расценкам!), использовали менто- и осциллограммы, записанные в дневных сеансах. Не знаю, что именно считали мои коллеги в других лабораториях, но я лично по ночам, распивая кофе, просчитывал резонансные восприятия на вторичные эффекты бифокальных рецепторных воздействий. За непонятным для непосвященного названием скрывались попытки разобраться в том, как реагирует человеческий мозг на очень слабые модулированные сигналы сверхнизких и сверхвысоких частот.

Во время каждого опыта – с Никитой в том числе – на мозг подавался СВЧ-сигнал такой интенсивности, чтобы реакция организма оказалась оптимальной. Иными словами, нужно было заставить человека по сигналу совершить определенное действие. В народе это называли зомбированием, но мы этим термином не пользовались. Иногда эксперимент удавался, и тогда частоту сигнала фиксировали вместе с порожденным действием. Но на сильное постоянное воздействие обычно накладывался слабый сложно модулированный сигнал – вариаций было бесконечное множество, потому и просчет результатов отнимал столько времени. Реакции мозга оказывались мало заметными, но считалось, что именно они позволят в свое время составить точную ментальную карту поступков и реакций второго порядка.

В общем, это была работа для будущего: когда-нибудь возникнет необходимость управлять не только основными инстинктами – любовью, ненавистью, половым чувством, сном,

бодрствованием, жадой и голодом, – но и более тонкими человеческими качествами. Способностью, например, обидаться на какое-то конкретное действие. Способностью обидеться настолько, чтобы немедленно дать обидчику в зубы или вообще убить. Он тебе, допустим, наступил на ногу (ненароком, скорее всего) и не извинился. А в твоём мозгу это действие закодировано, и реакция задана. Все, ты уже собой не владеешь. Можешь – нет, не можешь, а должен! – убить обидчика на месте.

Это, конечно, тривиальный пример, вторичные реакции могли быть самыми разнообразными. В нынешних лабораториях (наверняка они существуют, не закрыли же эту область науки, на самом деле!) все это, скорее всего, уже просчитано, спектр составлен, и зомбировать любого человека со стандартными реакциями профессионалу ничего не стоит. А в те годы исследования только начинались, быстрое действие компьютеров (мы называли их «машинами») оставляло желать лучшего, и нужно было потратить три-четыре ночи, чтобы просчитать самый элементарный вторичный эффект – допустим, программу, при которой реципиент совершает двигательный акт агрессивного характера в ответ на вербальный раздражитель определенного типа. В общем, ты говоришь человеку: «Дорогой, сегодня будет снег!», а он в ответ (сам того не желая!) дает тебе оплеуху.

Все это только на первый взгляд выглядело невинно. Мы-то прекрасно понимали, чем занимаемся. Скажу больше:

каждый в душе боялся, что первыми зомби, когда основные реакции будут, наконец, просчитаны, окажемся мы сами. А может, мы уже были зомби и поступали не так, как хотели, а так, как нам указывали те, кто имел на то полномочия?

Может, я отказался от повышения, потому что мне так было приказано? А Дмитрий Алексеевич удивился моему решению, потому что сам зомбирован не был и не знал, что я подвергся влиянию?

В ту ночь, сидя перед пультом «Стрелы», я совершенно серьезно размышлял на эту тему. Помню, как сварил кофе (Игорь, инженер из нашей лаборатории, достал в магазине на Кировской замечательный бразильский кофе в зернах и выдавал нам чуть ли не под расписку за определенные мелкие услуги). Запах был таким, что я понял в тот момент, как себя чувствуют люди, накурившиеся легкого наркотика. Может, мои ощущения ничего общего с ощущениями наркомана и не имели, я только хочу сказать, что это было удивительное чувство легкости, душевного подъема, мне казалось, что если бы в комнате было достаточно места для разбега, я мог бы и взлететь. Потом, конечно, упадешь, но в первые мгновения...

И тут меня повело. Сознание будто раздвоилось – очень неприятное ощущение, особенно после недавней эйфории. Будто есть ты и не-ты. Ты сидишь за пультом и следишь за режимом расчета, руки на клавишах, ноги вытянуты, потому что в коленках ломит перед завтрашним дождем. А не-

ты в то же время левой рукой достаешь чистый лист из блокнота, правой нашариваешь ручку, закатившуюся в ложбинку на пульте, кладешь бумагу перед собой и...

Когда ощущаешь две правые руки, писать очень трудно. Мне показалось, будто я стал тубиком, и кто-то очень сильный, надавливая мне на виски, выжимал из меня слово за словом. Слова, подобно вязкой пасте, падали на бумагу, а ручкой я их всего лишь размазывал и делал видимыми. Когда все закончилось, я думал, что сейчас упаду под пульт – дрожали ноги, а руки налились свинцом, и я не мог их поднять, чтобы утереть выступивший на лбу пот. О том, чтобы прочитать текст, написанный мной самим, и речи не было. Текста я просто не видел – только клавиши на пульте и гипнотизировавшее перемигивание огоньков.

Через какое-то время я вновь почувствовал себя человеком – то есть существом, способным адекватно и разумно реагировать на внешние раздражители. Первым желанием было, прошу прощения, выйти в туалет, что я и сделал. Вернулся будто заново рожденный – впервые испытал состояние, замечательно описанное в одном из рассказов Фазиля Искандера: там главного героя целый день угощают ароматным чаем и сочными арбузами, а он, бедолага, стесняется сказать, что ему необходимо посетить место, куда и цари пешком ходят. Но когда ему это, наконец, удастся... Ничто не может сравниться с блаженным ощущением опустошенности. Могу засвидетельствовать – так оно и есть.

Как бы то ни было, вернувшись на свое рабочее место, я увидел исписанный лист и прочитал текст, с трудом разбирая почерк, – линии с завитушками и специфическим наклоном влево. Я так не писал и даже близко воспроизвести этот почерк не мог – много раз потом пытался это сделать, но обязательно ошибался в какой-нибудь мелкой, но существенной детали.

В общем, я был уверен, что писал не я. Писал кто-то другой, водил моей рукой, как я, в свою очередь, – шариковой ручкой производства завода «Союз». Самым удивительным (это, впрочем, я осознал позднее) было то, что, работая в лаборатории уже достаточное количество лет и интересуясь соответствующей литературой, я прекрасно знал о существовании так называемого автоматического письма, но в тот момент мне и в голову не пришло, что со мной произошло именно это явление. Все полученные прежде знания будто испарились из памяти. А что осталось? Ничего – только удивление, немой восторг и желание, чтобы написанное сбылось.

«Ты должен принимать происходящее таким, каково оно на самом деле. Ты все знаешь, но не понимаешь, и это нормально. Твоя вторая половина, твоя родственная душа придет к тебе, когда настанет время. Ты ее видел. Ты ее ощутил. Но не будь самонадеян и всеправден – ты еще не готов жить по мере и по абрису. Не понимаешь сложности и будущности. Жди, и силы, более трудные, чем кажущиеся,

войдут в сопричастие. Не сумеешь отступить от назначенного. Все сбудется, но нужно время. Работай и пребудет с тобой»...

– Делай и воздастся тебе, – помню, я произнес эту фразу вслух и провел по листу ладонью, будто надеялся, что написанное сотрется, как от движения ластика.

Ничего не изменилось, мне даже показалось, что текст определился еще более четко.

То, что писал не я, было совершенно очевидно. Я не знал слова «всеправден». По-моему, такого слова не существовало в русском языке. И я не понимал, что значит «жить по абрису» – я никогда не написал бы этого.

Зазвонил внутренний телефон, и я долго не мог сосредоточиться, чтобы поднять трубку.

– Заснул? – это был голос Бориса Заречного, дежурного оператора, он сидел в машинном зале этажом выше и координировал работу всех пяти электронных вычислительных устройств. – Меньше пей Игорева кофе, от него в сон клонит.

– Я не сплю, – пробормотал я.

– Конечно, – с готовностью согласился Борис. – Я чего звоню? Через три минуты отключу «Роню», у нее полетел блок, нужно менять. Управишься с остальными или закончишь на сегодня?

Я посмотрел на часы: половина четвертого. Куда я в такое время. Все равно коротать до первых автобусов.

– Ладно, – сказал я, не узнавая собственного голоса. – По-

работаю на наших.

– Сговорились, – буркнул Борис и отключил связь.

Я остался наедине с собой. Нет, не так. На самом деле нас уже было двое, я это знал, как знал и то, что встретить свою вторую половину мне доведется еще очень нескоро...

Глава пятая

Когда телефон выключен, судьба обычно ломится в дверь. Или в окно – но для этого нужны совсем особые причины, которые в моем случае, видимо, еще не возникли. В дверь звонили настойчиво, не отрывая пальца от кнопки звонка. Я сложил листы в стопочку, посмотрел вокруг в поисках места, куда бы спрятать их от назойливого взгляда, и не нашел ничего лучшего, чем подсунуть под пульт компьютера, откуда, конечно, были видны края, но не просматривался текст – если бы я оставил листы на самом виду, они не могли бы вызвать большего любопытства.

Звонок требовал, звал, поднимал с места, и я поспешил к двери – в отличие от большинства израильских квартир, где с улицыходишь прямо в большую комнату-салон, распахнутую для гостей, званых и не очень, как театральная сцена после поднятия занавеса, – у меня была маленькая прихожая, закуток, где вдвоем было трудно разминуться. Входя в квартиру, человек упирался в стену, а точнее – в висевшее напротив двери зеркало. Многие пугались, когда, открыв дверь, встречали собственный изумленный взгляд, отраженный в стекле. Тот, кто приходил во второй раз, по-моему, закрывал глаза, чтобы избежать неприятного ощущения. Постоянные посетители – Лика, к примеру, – войдя, надевали маску равнодушия и демонстративно не обращали на

зеркало внимания. Лица даже причесываться предпочитала, войдя в салон и достав из сумочки собственное маленькое зеркальце.

– Кто? – спросил я, перекрикивая звон, гундосый, как звук корабельной рынды в тумане.

Звон прекратился, и голос Рафика сказал:

– Посмотри в глазок, увидишь.

Резонное замечание. Мне почему-то не нравилось смотреть на посетителей в дверной глазок – ощущение было таким, будто подглядываешь в замочную скважину, совершая действие, возможно, необходимое, но очень уязвимое с моральной точки зрения. Наверно, это была привычка – в двери моей старой квартиры глазка не было отродясь.

Прикладываться к холодному стеклу я не стал – соседа с первого этажа легко было узнать по голосу. Наверно, на моем лице была написана откровенная досада – что за необходимость трезвонить в то время, когда я обычно работаю, и Рафик об этом прекрасно знал? Сосед заговорил быстро, упреждая мои недовольные реплики:

– Слушай, звоню-звоню, ты спал, что ли?

Рафик приехал с Кавказа, и обычно я с удовольствием слушал его речи, намеренно приправленные акцентом.

– Нет, не спал, – пробормотал я.

– Извини, если помешал, – Рафик даже и попытки не сделал войти в квартиру, понимая, что это бессмысленно – я стоял перед дверью, и, чтобы войти, меня нужно было ак-

куратно отодвинуть в сторону. – Дело такое, что... Помощь нужна, понимаешь?

– Что-нибудь с Лаурой? – спросил я, чтобы заставить Рафика говорить конкретно. Лаурой звали его жену, страдавшую астмой. Впрочем, обычно во время приступов Рафик обращался не ко мне, а в «скорую», понимая, что не журналист нужен в таких случаях, а врач.

– С Лаурой? – недоуменно переспросил Рафик. – Нет, с чего ты взял? Слава Богу, с Лаурой все в порядке. Слушай, ты что, телефон выключил, да? Она мне звонит, говорит, у тебя никто не подходит, а ей срочно, потому что днем улетать...

– Кому срочно? – я ничего не понимал. На мгновение подумалось, что это Лика не смогла ко мне пробиться и зачем-то начала напрягать соседа, которого, вообще говоря, недолюбливала по причинам, о которых обычно говорят: «человек не моего круга». Но Лика никуда не улетала...

– Дорогой, откуда мне знать? – развел руками Рафик. – Говорит, срочно. Говорит, не могли бы вы пойти и посмотреть. Может, говорит, он телефон отключил. Голос приятный.

Последние слова Рафик произнес с мечтательной улыбкой, из чего следовало, что точно звонила не Лика – их неприязнь была взаимной.

– Ничего не понимаю, – пробормотал я и принял, наконец, решение. – Скажи ей, чтобы перезвонила ко мне, а я включу

телефон. Если так срочно...

Мое осуждение относилось к обоим – и к неизвестной женщине, и к Рафику. Сосед повернулся и медленно начал спускаться на свой этаж, будто ждал, что я остановлю его и скажу что-нибудь вроде: «А, вспомнил, это, наверно, Соня из редакции!»

Я прикрыл дверь и вернулся в салон. Почему-то, прежде чем включить телефон, достал подсунутые под клавиатуру листы и прикрепил их к пюпитру, где они стали похожи на повисшие в безветренную погоду флаги.

Телефон зазвонил почти сразу после того, как я сунул провод в разъем.

– Слушаю, – сказал я в трубку максимально недовольным тоном.

Две-три секунды продолжалось молчание, будто абонент на другом конце провода эмоционально впитывал единственное произнесенное мной слово, пытаюсь определить – тот ли я человек, или произошла ошибка.

– Это я, – произнес низкий женский голос, знакомый мне настолько, что я не мог его узнать, как не узнаешь иногда собственное отражение в зеркале. – Наверно, я помешала, но самолет у меня в три часа, и я боялась не успеть...

– Не успеть... – повторил я, сжав трубку так, что у меня заныли пальцы.

Это был голос женщины из моего сегодняшнего сна. Я, наконец, узнал его, потому что, по сути, это был мой соб-

ственный голос, измененный присутствием обертонов, придававших произнесенной фразе глубину и многосложность.

– Где вы? – спросил я, хотя правильнее было для начала спросить: кто вы?

Женщина ответила без запинки, будто ожидала именно такого вопроса:

– Тель-Авив, улица Соколов, дом шестнадцать, квартира восемь, второй этаж налево.

И добавила после мгновенной паузы:

– Но через полтора часа мне выезжать, Игорь приедет за мной на машине.

Меня неприятно кольнуло под ложечкой. Игорь? Какой еще Игорь? Не должно быть у нее никакого Игоря. Разве ночью, когда я ее увидел, с ней рядом был другой мужчина?

– Тель-Авив, – повторил я. – Полтора часа.

И осознав безнадежность ситуации, воскликнул:

– Я не успею! Мне до Тель-Авива ехать два с половиной часа! И еще автобуса ждать! И от автостанции до улицы Соколов! Это займет четыре часа – не меньше!

На этот раз пауза продолжалась, кажется, половину вечности. Во всяком случае, я успел продумать все возможные и невозможные варианты, включая попытку угона вертолета с расположенной в километре от города военной базы.

– Это ужасно, – сказала она. – Это просто ужасно.

Нужно было решать, и я сказал:

– Еду в аэропорт. Если рейс в три, то посадка еще не за-

кончится. Да... куда вы летите?

– В Москву, – быстро сказала она. – Самолет компании «Трансаэро».

– Ждите меня! – крикнул я в трубку. – Не улетайте без меня! Не улетайте!

Я положил трубку и заметался, ощутив мгновенный приступ паники. Где коричневые брюки? Почему не висит на спинке стула рубашка? И вообще... Я не спросил ее имени. Я не знал, как она выглядит и во что будет одета. Я не знал о ней ровно ничего – как я узнаю эту женщину в толчее аэровокзала?

Господи, как я туп! Умея логично и правильно рассуждать о сложных проблемах в десятках написанных мной статей, почему я становился беспомощен, едва сталкивался с простой житейской ситуацией?

Коричневые брюки, в которых я обычно ездил в редакцию, обнаружились на веревке, протянутой поперек технического балкончика. Просунув одну ногу в штанину, я заковылял к телефону, потому что только теперь (Господи, как я туп!) вспомнил о простом способе, позволявшем опять услышать ее голос. Подняв трубку, я нажал на кнопку с изображением звездочки, потом набрал 42 – команду возврата разговора: автоматическая служба телефонной компании должна была соединить меня с абонентом, только что набравшим мой номер. Я пользовался этой услугой тысячи раз, почему сейчас этот способ не сразу пришел мне в голову?

Жесткий мужской голос сказал на иврите:

– Здравствуйте, это телефонная компания «Безек». Номер, по которому возвращается разговор, вне возможности соединения. Здравствуйте, это телефонная компания «Безек». Номер, по которому...

Я бросил трубку и прошипел от досады:

– Чтоб тебе никогда не закончить фразу...

Проклятие было, конечно, странным, но в тот момент я вообще соображал плохо, а точнее – не соображал вообще. Иначе почему, осознав себя, в конце концов, на остановке тель-авивского автобуса, я обнаружил, что, надев коричневые брюки, так и остался в линялой домашней рубашке? И почему, прихватив с собой листы со старыми записками, я положил их не в портфель, с которым обычно ездил в редакцию, а в дорожную сумку, где они непременно сомнутся?

Возвращаться было поздно и бессмысленно, из-за угла показался одиннадцатичасовой автобус, водитель затормозил и открыл мне дверь – на остановке я был один, и мой вид, должно быть, производил неадекватное впечатление. Во всяком случае, водитель подождал, пока я опустился на сидение у окна в середине салона, и только после этого рванул с места.

Дорогу я помнил плохо. Автобус был полупустым, неурочное время, водитель, похоже, торопился по своим делам – иначе почему он даже не сделал обычного десятиминутного привала около закусочной на перекрестке Ги-

ват-Ольга? Я смотрел в окно, но взгляд мой был обращен на самом деле вглубь себя, и видел я не мелькавшие, будто в мультипликационном фильме, белые коттеджи, зеленые квадраты плантаций и голубые плакаты, рассекавшие пространство перед автобусом. Впрочем, и прошлое мелькало так же хаотично, мысли перескакивали с первого моего опыта автоматического письма к дню, когда я ушел из института, потом почему-то вспоминалось, как я принял Сашеньку за женщину моей мечты, а что из этого вышло, вспоминалось с трудом, хотя я, как мне казалось, прилагал к этому немало усилий.

Автобус проехал под мостом (мы уже мчались по Тель-Авиву, влившись в поток движения по шоссе Аялон). Мгновенная смена света и тьмы, и возвращение к свету будто что-то включили в моем сознании: я увидел себя за кухонным столом, я смотрел на себя со стороны и осуждал, потому что именно в тот день порвал с Сашенькой, ни в чем не повинной и пострадавшей, по сути, за мои научные убеждения, к которым бедная женщина не имела никакого отношения.

Мы сидели в кафе, Саша ковыряла ложечкой в вазочке с мороженым и бросала на меня быстрые взгляды – она понимала, конечно, что все уже кончено, это можно было прочесть по моему лицу, но все-таки надеялась на то, что женская интуиция ее подводит – как подвела однажды, но в тот раз я пришел и спас ее от одиночества, а теперь не просто не хотел спасти, но намеревался добить, будто подраненную

птицу, не способную к самостоятельному полету. Я чувствовал себя подлецом, но и не сказать того, к чему готовился, не мог тоже.

– Понимаешь, – пробормотал я, так и не притронувшись к мороженому, превратившемуся в вязкий сироп, – мы с тобой разные люди... Ссоримся из-за каждой чепухи... Вчера вот... Ну почему я не хотел... А ты... Черт! – прервал я сам себя и, взяв, наконец, нужный тон, заговорил быстро и, как мне казалось, решительно:

– Сашенька, ты здесь ни при чем, это моя ошибка. Если хочешь, ошибка научного эксперимента. В этом эксперименте я, как и ты, всего лишь подопытный кролик. Но, в отличие от тебя, я это понимал, а ты оставалась в неведении. Сейчас опыт закончился. Неудачей. Не получилось. Не ты виновата и не я.

– Что не получилось? – едва шевеля губами, спросила Сашенька. Она смотрела мне в глаза непонимающим взглядом – все, что между нами произошло, было для нее так же важно, как рождение сына, пятилетие которого мы вместе отметили неделю назад. – Что не получилось, Веня? О чем ты говоришь?

– О родственности душ. Я вообразил, что мы с тобой – две половинки одной духовной сути. Это оказалось ошибкой.

– Ты так решил из-за того, что я согласилась работать у Веллера?

Сашенька искала сугубо практическое объяснение мое-

го поведения – то, что было ясно мне, для нее представлялось мужским эгоцентризмом, неспособностью понять другого человека.

– Нет, – сказал я. – Веллер здесь ни при чем. Просто нам нужно расстаться.

– У тебя есть другая женщина?

Если бы... У меня не было другой женщины в этом мире, а тот, где моя половинка ждала меня, оставался недоступен.

Я бросил ложку на стол и поднялся.

– Извини, – сказал я, – мне пора.

– Ты даже не проводишь меня? – Сашенька удерживала секунды, не позволяя времени растекаться бесформенной лужицей, как это уже случилось с мороженым и с нашими отношениями, и со всей ее жизнью.

– Извини, – повторил я. – Мне просто не успеть.

Я повернулся и ушел – встреча вообще не имела смысла, порвать отношения можно было и по телефону. Нет, по телефону не получилось бы, Сашенька непременно явилась бы ко мне домой, чтобы посмотреть в мои бесстыжие глаза. Телефон для нее был всего лишь средством передачи простейшей информации, она не любила долгих разговоров на расстоянии и не понимала собеседника, если не видела его перед собой.

Больше мы с ней не встречались.

А как я страдал вначале, когда она не хотела отвечать на мои настойчивые ухаживания! Казалось, мир рушится, – не

потому, что письма, которые я писал сам себе, указывали именно на Сашеньку, как на женщину, созданную для меня в этой Вселенной, но скорее потому, что по всем моим представлениям вторая половинка души (а я считал Сашеньку своей частью!) не способна в принципе сказать «нет!» – ведь это все равно, что предать себя...

Автобус проехал поворот к аэропорту, и я в который раз посмотрел на часы – запас времени был уже почти равен нулю. Впереди появились огромные серые здания складов, еще минута...

Я должен был вспомнить что-то. Почему я все время держал на коленях листы и разглаживал их ладонью? Почему мне так важно было видеть формулы? Может, я хотел, наконец, понять, что они означали на самом деле? Я никогда не верил в то, что формулой можно записать любовь. Конечно, это чепуха, сюжет плохой пьесы. Формула любви, Господи! Нет ничего более примитивного по замыслу, чем попытка выразить бесконечность человеческой психики с помощью набора чисел и букв, соединенных математическими символами.

Я записал когда-то эти формулы под диктовку (чью? собственного подсознания?) и, зная, что это действительно конечная суть, не верил ни единой секунды.

Я писал о том, что мироздание вовсе не так однозначно, как нам это представляется. Тривиальная мысль, разве я был первым, кто об этом думал или писал? Нет, конечно, но мне

почему-то представлялось естественным (с чего бы? Разве были у меня тому какие-то доказательства?), что Вселенная состоит из нескольких частей, слоев, граней (названия я не придумал, какая, мол, разница?). Одна часть – мироздание, которое дано нам в ощущениях: мир темного космоса, яркого полуденного неба, серых вечеров, женских измен, приборов, которые чаще ломаются, чем работают нормально, газет, куда приходится писать, чтобы заработать на корочку хлеба... Наш мир – мир вещества, молекул, атомов, частиц, связанных различного вида полями.

И есть второй мир, столь же реальный, как наш, – мир полей, где нет атомов, молекул и элементарных частиц. Вселенная, в которой не масса создает поле тяжести, а наоборот – поле тяжести, существующее, как основная физическая суть, создает (а может и не создавать) себе массу. Мир, в котором сначала возникает ощущение, чувство, сознание, и лишь потом – вещественное нечто, вместилище ощущений. Сознание первично, вещество вторично.

Существует еще мир третий, где материи нет вовсе. Нет вещества, нет поля, нет тела, нет сознания... А что есть? Идеи, мысли, живые и способные развиваться сами по себе. Я успел написать только самые примитивные уравнения, описывавшие то, что я представлял очень плохо. Понимал, конечно, что моя идея трехслойной (трехкомпонентной?) Вселенной немного... хм... сильно, скажем так, противоречит основным положениям квантовой физики. Но мне ка-

залось... Нет, это я знал точно, хотя и не сумел тогда доказать и записать в уравнениях: никаким реальным физическим законам моя модель Вселенной не противоречит. Вселенная едина, конечно, и три ее части (слоя, компоненты) прочно связаны друг с другом, непременно друг с другом взаимодействуют, это я и должен был (должен? Вернее сказать: хотел) описать уравнениями, но слова у меня получались лучше, а математика – такой громоздкой и некрасивой, что однажды я отложил листы, спрятал подальше и зарекся заниматься проблемами, в которых не был ни специалистом, ни даже сколько-нибудь просвещенным дилетантом. Сколько нас, таких «создателей вселенных», осаждает редакции научных журналов? Мне не хотелось становиться одним из тех, о ком говорят «чокнутый фрик»...

Я знал, что когда-нибудь вернусь к этим сумбурным записям.

Пришло время?

* * *

Автобус подкатил к входу в здание аэровокзала, люди начали покидать салон, я тоже поднялся и принялся заталкивать листы в сумку (зачем я их только оттуда вытаскивал?). Формула опять оказалась перед моими глазами, и я прочитал ее – как делал это сто раз, – думая уже не о прежней жизни, а о будущей. Не о Сашеньке, а о...

Что-то сильно укололо меня в оба виска. Кто-то взял мои руки в свои и, крепко удерживая за локти, заставил опуститься на сидение. Не я, а кто-то другой, перевернул один из листов чистой стороной вверх, разложил бумагу на неровной поверхности дорожной сумки и, вытащив из бокового кармана шариковую ручку, начал выводить слова четким, почти каллиграфическим почерком.

– Господин! – сказал водитель, включив микрофон. – Рейс закончен, вам в аэропорт или куда?

– Сейчас-сейчас, минуту! – сказал мой голос. Я ненавидел эти мгновения. Мне никогда не нравилось – с того первого вечера – отдавать собственное тело во власть существа, которое, возможно, даже было мной самим, не нынешним, а прошлым или будущим, или вообще из другого мира, или не существовавшим вовсе, но созданным моим воображением. Кто бы это ни был, я ненавидел его и подчинялся ему, но самое главное, великое и ужасное – я ему безоговорочно верил.

Руку сводило судорогой, мозг в напряжении готов был продавить черепную коробку и вылиться мне на колени, запачкав серыми клеточками белый лист с уже нацарапанным текстом. И за мгновение до того, как это произошло на самом деле, все закончилось, как заканчивалось всегда.

– Сейчас-сейчас! – повторил я, овладев, наконец, и голосом своим, и телом, и сумкой, и бумагой. Водитель поднялся с места и направлялся в мою сторону, чтобы то ли помочь,

то ли просто выставить меня из салона.

На дрожавших ногах я вышел из автобуса и стоял на дрожавшей земле, собираясь с дрожавшими мыслями, рассыпавшимися, как горох из перевернувшейся банки.

Времени оставалось в обрез, а я не мог сдвинуться с места. Наконец (сколько прошло времени? Минута? Десять?) я догадался опустить на землю сумку, в которую вцепился, как в протянутый кем-то спасательный круг, и поднес к глазам листок.

«Родственная душа, – было написано не моим, четким и ясным почерком. – Это то, что есть ты сам. Более высокая ступень того, что есть ты. Суть. Узнаешь, но не смотри глазами. Поймешь, но не думай мыслью. Встретишь, но не ступай по земле. Помогут, но убей помощь. Холод не отвергай».

И если два первых указания я еще мог понять, то последнее представилось полной ерундой, поскольку при всем желании я не смог бы подняться над асфальтом ни на один микрон. Записки, написанные в странном состоянии незначительного почерком, мне не принадлежавшим, я складывал обычно отдельно от листов, хранившихся в тайном отделении чемодана. Мне нужно было хотя бы изредка перебирать эти записки и пытаться понять ускользавшую суть. То, что суть постоянно ускользала, было естественно и страшило меня не больше, чем гроза за окном. Не боялся я и того, что записки попадутся кому-нибудь на глаза – однажды их обнаружила Лика, когда прибирала у меня в квартире и уви-

дела блокнот с оторванными и вставленными обратно листками, лежавший на нижней полке секретера, куда я и сам не заглядывал больше месяца.

«Что это?» – спросила любопытная Лика, и я отобрал у нее блокнот со словами: «На досуге пишу фантастику. Закончу – покажу».

Лику этот ответ вполне удовлетворил. Кажется, я даже возвысился в ее глазах – фантастику, как вид литературы, она не любила, но фантастика все же была способом художественного самовыражения, в отличие от журналистики, которой я занимался утром, днем, вечером, а бывало и ночью. Лике почему-то очень хотелось видеть меня человеком не столько утилитарного назначения, сколько гигантом духа. Наверное, женщинам, по крайней мере некоторым, это важно – видимо, они понимают собственное духовное бессилие, ведь пресловутая женская интуиция, которой у Лики было в избытке, ощущалась ею не как духовность, а как заданность поведения, столь же утилитарная, как моя журналистика, предназначенная единственно для зарабатывания денег на хлеб насущный. Лика часто спрашивала меня: «Почему ты пишешь только статьи? Ты же книгу написал. Тебя знали, а теперь забывают. Хочешь, чтобы тебя забыли совсем? У тебя хороший слог, почему ты не хочешь написать еще один рассказ?» Возможно, она имела в виду роман – я давно убедился, что литературные жанры в ее представлении смешивались в размазанное варево, где сонет мало отличал-

ся от хокку, а повесть можно было назвать новеллой.

Блокнот я на глазах Лики переложил в ящик компьютерного столика, а после ее ухода спрятал подальше – пусть это будет моей тайной, пусть Лика воображает, что я действительно пишу новый фантастический опус. Больше будет любить, хотя, если задуматься, разве мне нужна была Ликина любовь?

Стоя с листком в руке перед входом в зал регистрации пассажиров, я пытался вспомнить, куда положил блокнот в последний раз. То, что я тогда записал, стояло перед глазами.

«Ощущай себя, – написано было моей рукой (вспомнил: это было двадцать три дня назад, Лика осталась у меня на ночь, и зуд в пальцах возник, когда она заснула), – и стремнина понесется. Мнение будет услышано, а суть вознаграждена. Не торопи события. Жди и будет».

По-моему, это было самое бессмысленное из посланий. Если не считать последнего, записанного только что.

Я сложил листок вчетверо, засунул во внутренний карман легкой куртки, подхватил сумку, похожую на сморщенный банан, и вошел в гулкий, как пещера, зал аэропорта.

И что теперь?

«Ощущай себя». Да сколько угодно. Мне казалось, что я сейчас ощущал даже движение крови в сосудах и чувствовал, как сталкиваются друг с другом красные кровяные шарики. «Узнаешь, но не смотри глазами». Пожалуйста. Я закрыл глаза и постоял минуту, прислушиваясь к собственным

ощущениям и мысленно поворачиваясь вокруг оси, будто стрелка компаса, кружащаяся в поисках утерянного севера. Пусто. Или я мог смотреть только глазами? «Поймешь, но не думай мыслью». Я многое мог понять интуитивно, это дано каждому, даже тем, кто считает интуицию женской выдумкой. Но как можно, не думая мыслью, найти (закрыв глаза?) единственную женщину среди сотен сидевших, стоявших, ждавших, искавших, смотревших по сторонам и углубленных в собственные тревоги?

Тряхнув головой и решив смотреть все-таки глазами, думать мыслью и ходить по земле, я медленно двинулся по залу. Нужно действовать методом исключения, вот и все. О каких сотнях женщин речь? В лучшем случае – о десятках. Она улетает в три часа в Москву рейсом «Трансаэро». Все очень просто, и не нужно отвлекаться на глупости.

Московский рейс регистрировали в зале С, пройти к стойкам я не мог – бдительные девочки из службы безопасности бросились ко мне, едва я переступил невидимый барьер, отделявший пространство зала ожидания от очереди на регистрацию. «Ваш билет!», «Я не лечу, я только...», «Тогда, пожалуйста, за ограждение!», «Но я ищу...», «Тот, кого вы ищете, после регистрации выйдет в зал. Вы хотите что-то ему передать?», «Нет!» – воскликнул я, представив реакцию бдительных девиц, если я скажу: «Да, хочу».

Я отошел за барьер и принялся оглядывать очередь, и всех, кто еще не переступил барьера. Здесь стояли пассажи-

ры всех рейсов, не только московского, огромная толпа, заполонившая мир.

Если я ищу ее, то она сейчас, скорее всего, ищет меня. Смотрит вокруг, ждет встречного взгляда. Кто? Эта, в ярком свитере и с черной сумкой у ног? Или та, что пристально всматривается в людей, входящих в зал через главный вход? А может, она старше – вон та, к примеру, лет сорока пяти, стоявшая близко от меня и бросавшая в мою сторону насто-роженные взгляды?

Ощущай себя и поймешь, но не думай мыслью. Узнаешь, но не смотри глазами...

Неожиданно я успокоился. Неужели столько лет я ждал этой минуты только для того, чтобы сейчас упустить единственный представившийся случай? Ведь и ее, мою вторую половину, некая сила вела, надо думать, так же, как меня – откуда бы ей, в противном случае, знать номер моего телефона? И номер телефона соседа, которому она позвонила, когда мой телефон оказался отключенным?

Если нам суждено встретиться здесь и сейчас, это произойдет. И не нужно трепыхаться. Думать, смотреть, искать. Ничего этого не нужно. Интуиции не нужно тоже – она меня слишком часто подводила.

Будь я йогом, ввел бы себя в состояние медитативного транса и ждал развития событий. Йогом я не был, хотя и занимался когда-то дыхательной гимнастикой. Я прислонился к мраморной колонне, сложил руки на груди и стал ждать.

Объявили, что заканчивается посадка на рейс компании «Трансаэро» до Москвы, опаздывающих пассажиров просят немедленно подняться в зал отлета.

Шли минуты, а может, даже часы – время, как любят писать романисты, используя один из литературных штампов, для меня остановилось. Если бы я хоть как-то контролировал свои мысли, то наверняка нашел бы менее банальное определение – никогда не любил общих мест и в своих статьях (а прежде – в научных публикациях) старался избавляться от банальностей, как и от другого словесного мусора. Но тогда, подпирая колонну в зале регистрации, я, пожалуй, действительно впал в транс и не мог определить ни того, с какой скоростью текло время, ни даже того, в каком направлении оно текло. Возможно, эта неопределенность и заставила меня ощутить бытие, как неподвижность времени. Вот я слышу голос и не понимаю: то ли диктор призывает опаздывающих поторопиться, то ли внутри моей черепной коробки звучит эхо ранее произнесенного объявления, а может, странные звуки произвожу я сам, называя себя по имени, которое мне никогда не принадлежало.

Имя?

Почему имя, если время застыло? Имя – это процесс, длительность, судьба, наконец. Имя не может ни звучать, ни быть произнесено, и даже подумать о нем невозможно, если время стоит на месте. Ничто не может...

Алина.

Пять квантов времени, пять толчков из прошлого в будущее, пять звуков. Я должен был произнести имя вслух? Я не мог этого сделать, потому что действие – это тоже время, а в моем распоряжении было только пространство, три измерения вместо четырех. Три? Разве имя не было сказано, и разве число символов не определило размерность моей жизни и, следовательно, того пространства, в котором мне надлежало существовать?

Пять звуков, пять квантов, пять измерений, только три из которых были привычными измерения существования человека, а два остальных... Нет, это не было временем. Что же тогда? Пространство движения без времени, но – с чем?

Впоследствии, когда я вспоминал все, что со мной происходило, то вынужден был выстраивать свои мысли во временной последовательности, иначе, возможно, я и сам для себя не смог бы создать единой картины. На самом деле я не думал этими словами, потому что слова думаются во времени. Если быть точным, я вообще не думал, поскольку то, что происходило, нельзя было назвать процессом. Осознание. Миг. Момент истины – если использовать пусть и банальное, но вполне точное определение.

Я жил в пяти измерениях, из которых три – длина, ширина, высота – застыли перед моими глазами, образуя колонны, пол, потолок, регистрационные стойки и множество неживых существ, которые, если бы существовало измерение времени, можно было бы назвать людьми. Еще два измерения

протянулись не в пространстве, а в моем восприятии мира, и я понял их суть, погрузился в них: это были измерения имени и любви.

Имя было – Алина. А любовь была связавшей нас нитью. Я видел эту нить. Не глазами, конечно. Глаза остались в трехмерном мире. Возможно, в мозгу существует иной центр зрения, принимающий сигналы измерений, недоступных взгляду. Нить, связавшую меня с Алиной, я видел так же ясно, как застывших людей и нависшую надо мной колонну. Нить не имела цвета, плотности, ширины, и длина ее представлялась мне не разницей пространственных координат, а разницей наших с Алиной мироощущений.

Я потому и не видел этой женщины в зале аэропорта, что, будучи живой, мыслящей и ищущей, она оставалась вне моего ощущения мира – так бывает, и даже со мной так бывало нередко: идешь по улице и вроде бы прекрасно воспринимаешь окружающее, а потом вдруг слышишь обращенный к тебе вопрос, видишь рядом человека и поражаешься: где он был раньше, почему возник будто ниоткуда? И понимаешь, в конце концов, что человек этот и раньше находился рядом с тобой и, может, даже говорил, а ты отвечал, но все равно он был вне твоего мировосприятия и, не исключено, там бы и остался, а ты впоследствии даже не вспомнил бы об этом разговоре, и на вопрос приятеля: «С кем ты говорил сегодня на бульваре?», искренне ответил бы: «Ни с кем!»

Я ухватил нить, как мог бы ухватить мысль. Я пошел вдоль

нити, как мог бы пойти вдоль мысли – от конца к истоку. Для этого не нужно было двигаться ни в одном из трех измерений. Я прошел от последней буквы имени к его первой букве – от «а» до «А», это были, конечно, разные буквы, только на бумаге они могли выглядеть одинаково, а в измерении имени отличались так же, как день отличается от ночи, звезда от планеты, любовь мужчины от женской любви.

Алина стояла в глубине зала и, закрыв глаза, шептала мое имя, которое было для нее более реально, чем призыв диктора срочно подняться в зал отлета, потому что посадка на самолет закончилась, и пассажирка Алина Грибов не должна задерживать отправления рейса.

Мне казалось, что я протянул руки и коснулся пальцев Алины. Мы находились в измерении любви, и потому слова, которыми я способен описать собственные действия, чрезвычайно мало соотносятся с тем, что происходило на самом деле. Для тех, кто, возможно, бросал на меня в тот момент любопытствующие взгляды, я выглядел пассажиром, растерявшимся в огромном и бурлившем котле. Скорее всего, я тупо смотрел перед собой, пытаюсь сквозь толпу разглядеть женщину, прислонившуюся к другой колонне метрах в пятидесяти от меня.

– Алина, – сказал я.

– Веня, – сказала она.

Имена соединились, измерение захлопнулось, выполнив свою функцию, осталось только физическое расстояние

между нами – и любовь.

Капля любви упала на ось времени и подтолкнула застывший в растерянности квант, соединявший следствие с причиной.

Время сдвинулось, физические измерения стали ощущаться единым и несокрушимым мирозданием, я стоял, прислонившись к колонне, вокруг кипела жизнь, кто-то кричал на иврите: «Игаль! Скорее! Ави потерял паспорт!», а кто-то оглушительно чихал, наполняя и без того густой воздух микробами гриппа.

Я перекинул через плечо сумку, ставшую неожиданно легкой, и быстрым шагом пересек зал, направляясь к дальней колонне, подпиравшей лестницу блока «С», по которой опаздывавшие пассажиры спешили на второй этаж, в зону паспортного контроля, таможенного досмотра и свободной торговли.

Алина улыбнулась, увидев меня. Возможно, я тоже улыбался.

– Ты куда не улетишь, – сказал я.

– Уже нет, – сказала она. – Как я могу улететь? Мне нужно попрощаться с мамой и закончить дела. Да и тебе...

– Ты права, – сказал я. – Мне тоже нужно разобраться. Но так не хочется расставаться – именно сейчас.

– Разве мы расстаемся? – удивилась она.

– Нет, – согласился я.

И, подхватив сумку, стоявшую у ног Алины, пошел к лест-

нице блока «С». Я все знал, мне не нужно было ничего подсказывать. Молодой человек в черном костюме, стоявший у входа на эскалатор, протянул руку за билетом. Алина порывисто обернулась ко мне, и мы поцеловались – наверное, со стороны это выглядело стандартной процедурой прощания, на этом месте точно так же вели себя все, и мы не стали исключением. На самом деле это было не прощанием, а приветствием, и не поцелуй это был, а прикосновение душ.

Мы коснулись друг друга, прилепились друг к другу, и именно в тот миг, ничем не примечательный ни для кого, кроме нас, наши души, наши судьбы, наши, как говорят физики, мировые линии, соединились в одну, и для мироздания это, конечно, не могло закончиться бесследно.

Алина забрала у контролера билет, подхватила сумку и ступила на эскалатор. Она не обернулась, да и я смотрел куда-то в сторону – кажется, на часы, висевшие на противоположной стене зала и для моего не очень острого зрения выглядевшие бледным круглым пятном, вроде полной луны на подернутом облаками небе.

Я видел, как Алина поднялась в зал паспортного контроля, встала в очередь за парой американцев и опустила на пол сумку.

«Иди, – сказала она мне. – Твой автобус через семь минут, а следующего ждать два часа».

«Ничего. Мне некуда торопиться. Я хочу посмотреть, как взлетит твой самолет».

«Ты увидишь и в дороге, – улыбнулась она. – Разве это так важно?»

«Совсем не важно, – согласился я. – Просто мне хочется».

«Я люблю тебя, – сказала она. – Разве важно, кто сказал это первым?»

«Совсем не важно»...

Глава шестая

Я помнил день, когда увидел ее второй раз.

Интересное было время – закат перестройки, очередной съезд народных депутатов, в холле института поставили большой телевизор (Озимов, замдиректора по общим вопросам, велел перенести аппарат из комнаты парткома, видимо, уже тогда понимал, что шестую статью Конституции вот-вот отменяют, и нечего с местными коммунистами церемониться), и народ, вместо того, чтобы точить лясы на рабочих местах, просиживал штаны перед экраном, бурно реагируя на каждое слово, особенно когда на трибуну выходил Ельцин или Собчак, или, тем более, сам академик Сахаров.

Не до работы было. И не только потому, что весь персонал интересовался политикой больше, чем собственными исследованиями. Нужно было остановиться – то, что я слышал на последних семинарах, не имевших ни к перестройке, ни к гласности никакого отношения (все темы были секретными, в зал семинаров пускали по особым пропускам, а записки, если кто-нибудь по глупости что-то писал во время докладов на листках бумаги, изымались на выходе бдительным Матвеем Николаевичем, заместителем начальника первого отдела), наталкивало на мысль о том, что все без исключения эксперименты зашли в тупик.

В лаборатории Батурина за пятнадцать лет не сумели со-

здать ни одного приличного зомби. То, что у них получалось, на практике мог применить только заведомый самоубийца. Даже самые внушаемые реципиенты полностью переходили под власть инсталлированной программы минуты на три-четыре, и каждый год удавалось увеличить это время на несколько секунд, причем чем дальше, тем труднее давалось такое увеличение. Ясно было (Батулин даже подвел теоретическую базу, пользуясь работами Юнга, Бехтерева и Лапудовского), что работы вышли на стадию насыщения. Зомби (никто их так в официальных документах, конечно, не называл, все пользовались термином «реципиенты с имплантированной программой», сокращенно «рипы») выполняли простейшие действия – уносили, приносили, ложились, вставали. Максимум, чего удалось достичь ребятам Батулина – обучить добровольца разбирать и собирать пистолет Макарова, благо программа была достаточно простой и не вызывала у рипа внутреннего противодействия. Чтобы заставить рипа выстрелить, да еще в нужного человека, программа не годилась. Точнее, не годился рип – это был обыкновенный работяга, вовсе не с генетическими задатками убийцы. Таких и отбирали для экспериментов – какой смысл был возиться с прирожденным убийцей или даже с человеком, независимо приобретшим склонность к лишению жизни себе подобных? Как-то еще в начале всей серии некий шибко умный сотрудник (от него давно избавились, как от бесперспективного) предлагал использовать осужден-

ных убийц. Конечно, это было легче. Но научной ценности такая идея не имела никакой, а практически была вовсе бессмысленной. Если человек уже совершил убийство, то способен совершить другое – что ж тут доказывать?

Тупиковая ситуация сложилась не только у Батурина. Я особенно не вникал, своих проблем было достаточно, но все-таки слышал, что Храпов попал в кольцо с высокочастотным излучателем – да, он сконструировал фактически новый вид оружия, способного на время от пяти минут до часа вывести из строя живую силу противника на расстоянии до ста тридцати метров от аппаратуры. Ну и что? Излучатель занимал половину комнаты в подвальном помещении, на время эксперимента его вывозили на полигон, загружая блоки в два грузовика, а потом трое суток юстируя систему на новом месте. До создания мобильного варианта Храпову было так же далеко, как до Луны. Особенно его нервировали появлявшиеся в печати статьи о том, как на Западе (конечно, на Западе, где же еще?) создается звуковое оружие – то писали об инфрачастотах, то о сверхвысоких, и все это была туфта. По моему, Храпов получил из первого отдела сведения о том, что на самом деле делают в Соединенных Штатах (наверняка он пользовался разведанными в своих разработках), и восторга эти исследования не вызывали.

В общем, сидели мы перед телевизором не только потому, что заседания съезда вызывали стойкий интерес, а от какой-то безысходности. Писать отчеты мы все умели, и ни-

кто не сомневался, что при любой власти (пусть отменяют шестую статью, пусть вообще введут в СССР капитализм) институт будет существовать и даже процветать. Но... Скучно, господа. Как все это было интересно в самом начале, и в какую рутину превратилось! И не по нашей вине – умных людей в институте было достаточно, но то ли тематика требовала принципиально иных подходов, для нашего начальства с его дубовыми марксистскими представлениями о мироздании совершенно неприемлемых, то ли проблема, из фантастики пришедшая, так и должна была в фантастике оставаться. Игра воображения. Как было бы хорошо, если бы... Вечный двигатель. Квадратура круга.

И что самое неприятное, я не был убежден в том, что стал в институте единственным, кто все-таки перешел неосязаемую грань, вышел за пределы. Сколько к тому времени прошло лет после того, как я впервые записал фразу, надиктованную мне силами, в существование которых я никогда не верил? Два года – немало.

Может, каждый из нас – или хотя бы те, кто участвовал в экспериментах, – испытал нечто подобное?

Я сидел перед телевизором, но смотрел не выступления депутатов, а зыркал глазами по сторонам и пытался понять, о чем думают сидевшие рядом сотрудники. Может, Игорь Антонович? Похож он на человека, которому время от времени является дальний предок и заставляет под диктовку записывать слова, которые Игорь Антонович потом пытается разо-

братъ – почерк у предка наверняка далеко не каллиграфический, а используемая терминология попросту непонятна?

Игорь Антонович скосил в мою сторону глаза (почувствовал, наверное, что о нем думаю) и подмигнул – не потому, что понял обращенную к нему мысль, просто депутат на экране сказал какую-то всем очевидную чепуху, достойную осмеяния.

Я перевел взгляд на Ольгу Млечину, лаборантку из Бахтинского отдела – она сидела, выставив на обозрение пухлые коленки, узкое платье обтягивало привлекательные бедра, я знал, что Ольга была девушкой, готовой на все, от мужиков у нее отбоя не было, только меня в этой компании не хватало, но что-то сейчас было в ее позе, что-то, отталкивавшее мужчин, – вот ведь даже ее нынешний официальный хахаль Дима Безруков отодвинул свой стул подальше и делал вид, что Оля его совершенно не интересует...

Почему? И что вообще происходит? Что...

Что-то действительно происходило.

Депутат раскрыл рот, чтобы произнести фразу о необходимости усиления работы центра на местах, да так и застыл, будто режиссер передачи, сидевший в аппаратной на телестудии, нажал на кнопку «стоп-кадр», решив своим режиссерским чутьем, что от лицезрения неподвижной картинки зрители получают больше удовольствия, нежели от косноязычной речи, имевшей вполне определенное содержание, но не содержащей определенного смысла.

Задумка режиссера показалась мне странной, и я бросил взгляд на Ольгу, чтобы поделиться с ней (с кем еще? Не с Димой же) своим удивлением, но девушка не смотрела в мою сторону. Она вообще никуда не смотрела, хотя глаза ее были раскрыты, а в зрачках отражался золотой диск солнца. Смотреть может человек, волк, ястреб – любое живое существо. А Ольга была статуей, и взгляд ее был нарисован – плоский взгляд выпуклых голубых глаз.

Мне стало холодно – не коже, как это обычно бывает, а сердцу, чего со мной не было никогда прежде. Я испугался. Я подумал, что так, наверное, начинаются сердечные приступы, инфаркты, а потом является смерть. Сейчас придет боль – мучительная, с взвизгом, с потерей сознания, памяти, я упаду со стула, и некому будет меня поднять, потому что вокруг не люди, а статуи с плоскими взглядами выпуклых глаз.

Но боль не приходила, и смертельный ужас перед надвигающимся финалом отступил за чьи-то широкие спины. Кто это был? Люди? Тени? Мои собственные овеществленные мысли? Они отгородили меня от мира, от Ольги, пусто глядевшей перед собой, от Димы Безрукова, почему-то воздевшего руки к потолку, да так и застывшего в этой страшно неудобной позе, от Игоря Антоновича, будто заснувшего в большом председательском кресле, куда усаживался обычно тот, кто первым приходил в холл и включал телевизор.

Люди-тени обернулись в мою сторону, и вместо широких

спин я увидел такие же широкие лица – пустые, как взгляд Ольги. Может быть, я закричал. Во всяком случае, когда я, наконец, пришел в себя, у меня саднило в горле и пить хотелось так, будто я провел неделю в безводной пустыне. Может, я не только закричал, но и заплакал, потому что, когда движение времени восстановилось, у меня на щеках были слезы.

Но что я сделал совершенно точно – поднялся на ноги и шагнул вперед. Это я так говорю: «вперед», на самом деле движения мои вряд ли были хоть как-то координированы. Мне даже показалось, что, сделав шаг вперед, я оказался дальше от людей-теней, чем был секундой раньше. А может, это они отошли?

Это было неважно. А важно было, что люди-тени расступились, и в образовавшемся промежутке, будто в светлом тоннеле, ведущем в невидимый отсюда сад, появилась женщина. Она казалась молодой, но я не мог бы даже приблизительно определить ее возраста. Двадцать лет? Тридцать? Что такое молодость? Молодой может быть и старуха, если взглядеться не в телесную оболочку, а в человеческую суть.

Женщина не имела возраста. Она стояла, опустив руки, смотрела мне в глаза, и во взгляде ее отражалось солнце. Отражение слепило и не позволяло разглядеть деталей. Какое было на ней платье? Женщина не была обнажена – это я мог утверждать определенно, – но описать одежду я бы не сумел.

– Здравствуй, – тихо сказала она.

– Здравствуй, – сказал я. Или подумал?

– Я люблю тебя, – проговорил я. Или и это я подумал тоже? Но женщина услышала и кивнула в ответ:

– Я знаю.

– Как тебя зовут?

Женщина пожала плечами и улыбнулась. Я хотел подойти к ней, но ноги меня не слушались. Впрочем, если быть точным, меня не слушались и руки. Да и губы тоже не желали шевелиться, произнося то, что мне хотелось в тот момент высказать вслух.

– Мы будем вместе.

Это сказал не я. Но и она тоже не могла сказать этих слов – мне показалось, что произнес их сам воздух, будто Чеширский кот, возникнув на мгновение в голубой прозрачности, высказал очевидную для него мысль и исчез.

– Мы будем вместе.

Слова отражались друг от друга, как изображения в зеркалах. Слова множились, ломались и спутывались, в ушах возник гул, и женщина отступила. Люди-тени сомкнули ряд, будто перед моими глазами задернулся занавес, и женщина исчезла – так происходит в театре, когда представление закончено, и больше не нужно выходить на аплодисменты.

Мне показалось, что я рванулся вперед, но на самом деле это было неосуществленное желание. Мне показалось, что, исчезая за спинами людей-теней, женщина назвала мое имя. Или свое? Или это был возглас отчаяния?

А потом Ольга спросила:

– Почему депутаты от республик такие зануды?

– Переключи на вторую программу, – посоветовал Дима, с интересом разглядывавший Олины коленки. – Там сейчас концерт.

А Игорь Антонович добавил:

– Когда Собчак выступает или, скажем, Ельцин – совсем другое дело. Что скажешь, Веня?

Вопрос был обращен ко мне, но я не сразу понял, а когда попробовал ответить, то не смог этого сделать: в горле саднило, а на щеках я ощутил слезы. Неужели мои?

Так и не ответив Игорю Антоновичу, я встал и поплелся в туалетную комнату, хватаясь руками за холодный и липкий воздух.

– Что с тобой? – сказал Дима мне вслед. – Сердце схватило?

– Нет, – пробормотал я. – Ничего...

Я не собирался никому рассказывать о женщине, которую люблю. Это моя жизнь, моя женщина, моя любовь – разве я обязан с кем бы то ни было делиться своими сокровенными ощущениями? Но, с другой стороны, разве все, что происходило в институте, не было общим достоянием, поскольку становилось результатом того или иного, ощутимого или прошедшего мимо сознания психологического воздействия? Я вспомнил в тот момент Никиту, и его «больно...», и девушку, которую увидел тогда и о которой Никита сказал, ухо-

дя: «Не потеряй ее»...

Я стоял в коридоре, так и не дойдя до туалетной комнаты, хватал ртом пересушенный раскаленный воздух и прекрасно понимал в тот момент, что встреча наша произойти не может по той простой причине, что женщина эта еще не пришла в мир. Я так и думал: «Она еще не пришла в мир». Что означали эти слова? Что явившееся мне видение было лишь предощущением далекого будущего? Или то, что в мир еще не пришла любовь, и если мы встретимся с этой женщиной сейчас, то не обратим друг на друга внимания? Такое могло произойти – я не помнил сейчас черт ее лица, и тембра голоса не помнил тоже, и даже рост этой женщины представлялся мне неопределенным – то ли высоким, то ли средним, то ли низким, – и как бы я узнал ее на улице? Только интуиция могла помочь, только она могла сказать «да», но ведь и прежде я надеялся на голос интуиции, когда знакомился с женщинами и вглядывался в их лица. Что изменилось сейчас?

Вроде бы ничего, но я точно знал, что изменилось все.

Я стоял в коридоре, холодный и влажный воздух хлынул в легкие горным ручьем и разбился на ручейки, а ручейки впитались клетками тела и наполнили их энергией, стекавшей от шеи вниз, к ногам, и в груди возникло стеснение, какое бывает в переполненном водой озере – нет больше места, а вода прибывает и хочет размыть берега, раздвинуть их, смять, и, кажется, есть для этого силы, но вода затопляет прибрежные

низменности, напряжение уходит, и озеро успокаивается.

Странное это было ощущение. Не то чтобы неприятное. Просто странное. Вода или энергия, или нечто иное, чему я не мог подыскать названия, стекло к ногам и впиталось полом. Я опять стал собой, каким был пять минут назад. Разве что возникла не свойственная мне уверенность в том, что все будет хорошо. Неважно где и когда, но – будет.

И еще – я точно знал, что в институте мне больше нечего делать. Все кончено. Этот эпизод моей жизни иссяк, на экране мелькнул кадр с надписью «Продолжение следует», и пора включать свет, чтобы подвести итог.

Я повернулся и пошел в свою комнату, которую не любил называть кабинетом. Кабинет – это нечто канцелярски-бездушное, а в своей комнате я жил. Сел за стол, отодвинул в сторону папки, бумаги и библиотечные книги и, положив перед собой чистый лист, аккуратным почерком написал заявление об уходе по собственному желанию.

Подписался, поставил число и ушел домой. Наверное, нужно было отнести лист в канцелярию, но я знал, что там никого не было – Галя, секретарь директора, как все, смотрела телевизор.

* * *

Самолет взлетел, по широкой дуге развернулся и взял курс в сторону моря. Солнце бликами плясало на его кры-

лтых и фюзеляже, и я заслонил глаза ладонью. Теперь солнце не мешало смотреть, и я видел, как самолет, в котором улета-
ла от меня Алина, набрал высоту и далеко над морем по-
вернул к северу. Алина сидела у окна в одиннадцатом ряду
кресел второго салона. Не знаю, для чего мне нужно было
знать это, но я знал, хотя, конечно, не мог знать и, скорее
всего, вообразил себе и это число, и фиолетовую заслонку на
окне – Алина опустила ее, чтобы остаться наедине со мной.

«Алина, – сказал я. – Я вижу тебя, я слышу тебя, я говорю
с тобой. Как такое возможно?»

Она повернулась к окну, всмотрелась в темную поверх-
ность пластика с длинной поперечной царапиной, и ответи-
ла, улыбнувшись:

«Не знаю. Наверное, две половинки целого находят спо-
соб соединиться. Не думай – «как». Думай: «Что?»

«Что? – тут же спросил я. – Что ты будешь делать, когда
вернешься? Ты говорила о матери. И о делах. Я ничего о те-
бе не знаю. Я не знаю твоего адреса. Куда звонить? Как пи-
сать?»

«Веня, – сказала она, – это не те вопросы. Почему ты спра-
шиваешь то, что не имеет значения?»

«А что имеет значение? – выкрикнул я мысленно. – Что?»

«Вот правильный вопрос, – сказала она. – Задай его себе,
и получишь ответ».

– Господин, вы умеете с этим обращаться? – услышал я
озабоченный женский голос. – Может, вам помочь?

Я стоял перед банковским автоматом и держал в руке кредитную карточку.

– Спасибо, все в порядке, – сказал я пышной брюнетке лет пятидесяти, проникшейся ко мне заботой человека, желающего объяснить обезьянке, с какой стороны лучше держать палку, чтобы сбить с дерева вожака плод.

Я взял в автомате двести шекелей, проверил состояние счета – до конца месяца продержусь, а дальше видно будет, – и поспешно отошел в сторону. «Алина!» – позвал я, но никто не ответил. Самолета компании «Трансаэро», взявшего курс на Москву, не было видно в блеклом жарком воздухе, а шедший на посадку «Боинг» только разогнал энергию мыслей, и я поплелся к автобусной остановке в еще большем душевном смятении, чем прежде.

Впрочем, разве не понимал я, когда мчался в аэропорт, что, встретившись, придется расстаться?

Глава седьмая

Я не знал, кто пишет моей рукой, когда у меня возникает непреодолимое желание изложить на бумаге мысли, которых у меня нет. Это мое желание, как жажда, которую нужно утолить. Когда я пишу, то не думаю ни о чем – мелькают обрывки мыслей, любых, от самых банальных, о включенном и оставленном без присмотра тостере до сложных идей об устройстве Вселенной, которые я потом не могу вспомнить.

Потом меня вдруг отпускает, будто раскрываются двери клетки, где я сидел, окруженный чужими мыслями, как навязчивыми собеседниками, и я выхожу на волю с единственным свидетельством своего пребывания в заточении – листком бумаги, на котором разными почерками накарябано странное и чаще всего бессмысленное послание. Почерки бывают разными, хотя чаще всего моей рукой водит некто, пишущий с левым наклоном и пренебрегающий запятыми. Иногда я пишу собственным почерком, который легко узнать, поскольку он самый неразборчивый.

Написав текст, смысл которого представлялся туманным или вовсе непонятным, я потом обычно отдыхаю, потому что пребывание в клетке – пусть это всего лишь клетка для мыслей – не может не отразиться на физическом самочувствии: раскалывается голова, перед глазами вспыхивают оранжевые искры, а пальцы, которые только что держали ручку и выво-

дили на бумаге символы, немеют, будто побывали в чужом временном владении и теперь не могут привыкнуть к прежнему хозяину.

Если это случается дома, когда мне не нужно ничего ни перед кем изображать, я обычно доплетаюсь до дивана и лежу какое-то время – десять минут, полчаса, час, бывает повсякому – совершенно без сил, глядя в потолок, не думая ни о чем и, тем более, о том листке, что лежит на столе. Когда голова перестает болеть, я умываюсь, причесываюсь (странная привычка!) и только после этого сажусь за стол и внимательно читаю то, что вышло из-под моего чужого пера.

А если приходится писать на людях – случается и такое, к счастью, чрезвычайно редко, – то отлеживаться и приходить в себя нет ни времени, ни возможности, и организм, похоже, прекрасно это понимает, потому что никаких последствий я не ощущаю: текст пишу, не думая, потом спокойно складываю листок вчетверо, прячу в карман или книгу и продолжаю разговор, как ни в чем ни бывало, или занимаюсь тем, чем занимался до того, как чья-то рука перехватила мое запястье и начала водить по бумаге моими пальцами. Обычно все обходится без замечаний, разве что спросит кто-нибудь из самых настырных: «Что, идея в голову пришла?» Я отвечаю «да», и от меня отстают – все знают, что я журналист, писатель, творческий человек, а творческие люди все такие: мысли, что приходят в голову, тут же записывают, чтобы не забыть. Экстравагантно и создает имидж.

Странно все-таки устроено человеческое существо: меня куда больше волновала проблема способности организма подстраиваться под внешнюю ситуацию, чем выяснение того, кто же на самом деле писал то, что я потом читал и принимал (или не принимал) к сведению.

Я перечитал в библиотеке института все, что нашел об автоматическом письме и его причинах. Нашел, конечно, безумно мало – в те годы в советской прессе об этом явлении говорили в тоне ироническом или уничижительном, а из-за рубежа институт получал только академические издания типа «Нейчур» и «Записок королевского биофизического общества», где не только о природе автоматического письма не было сказано ни слова, но и о самом явлении не говорилось ничего, как о покойнике, который при жизни был личностью мало приятной, а потому после его смерти родственники предпочли хранить молчание и о нем, и об его сварливом характере.

В ту ночь, когда это случилось со мной впервые, никто в институте СВЧ-излучениями не баловался и вообще никаких экспериментов не проводил – естественно, на следующий день я осторожно навел необходимые справки. Работали только программисты и дежурные операторы, и потому ни на какие физические излучения, размягчившие мой податливый мозг, я не мог списать обуявшее меня внезапно желание записывать своей рукой чужую мысль. Если бы работала хотя бы одна установка, я, возможно, сделал бы такую глу-

пость – объявил о произошедшем, потребовал проведения контрольных экспериментов, завел лабораторный журнал и тем самым загубил бы то, что во мне зарождалось и чего я не понимал долгое время. Но сослаться на какое бы то ни было физическое влияние я не мог, а потому решил проверить – повторится ли эффект, и если да, то при каких обстоятельствах.

«Единая душа – это то, что есть ты. Суть. Узнаешь, но не смотри глазами. Поймешь, но не думай мыслью. Встретишь, но не ступай по земле».

Я ехал домой в полупустом автобусе и в сто двадцать седьмой раз перечитывал написанный не моей рукой текст. Я уже научился различать почерки. Знал, что угловатые буквы с едва заметным левым наклоном выводит та моя суть, которая менее других склонна к философическим размышлениям – тексты эти были жесткими, прагматичными, но я никогда не знал, к какому именно событию в моей жизни они относились. Вялым округлым почерком, где одна буква налезала на другую и все вместе составляли трудно читаемую вязь сродни арабской, писала та часть моего «я», которая решительно не знала, что со мной происходит и, похоже, сама нуждалась в каком-нибудь здравом совете – только я не мог его дать, не представляя, как можно поменяться ролями с тем, кто без спроса вторгается в мое сознание. А еще был почерк беглый, торопливый, но с четко прочерченными буквами, именно прочерченными, а не написанными, будто моей

рукой водил художник или любитель черчения, знавший меня лучше других и дававший самые дельные советы – чаще всего тоже непонятные, но, по крайней мере, способные навести на очень нетривиальные размышления о собственной натуре и зигзагообразном жизненном пути, приведшем меня в тихий городок на Голанских высотах, откуда было всего четверть часа езды до древней крепости Гамла и меньше получаса до сирийской границы, о которой никак нельзя было сказать, что это граница враждебного государства – ржавая колючая проволока тянулась вдоль естественной холмистой гряды, и вокруг не наблюдалось ни одного солдата ни с нашей, ни с той стороны.

Тот текст, что я перечитывал, возвращаясь из аэропорта, был написан именно этим художественным почерком, и потому я отнесся к собственному изречению самым серьезным образом. Я никогда себя не обманывал – произведя сравнительный анализ почерков и текстов, сопоставив их с реальностью, в которой продолжал жить, я пришел, в конце концов, к выводу, что все это писал, конечно же, сам, находясь каждый раз в ином, чем прежде, субъективном состоянии духа. Ох уж это подсознание, особенно когда его каждый день возбуждают токами сверхвысокой частоты, даже если отгораживаться от них защитными панелями...

«Единая душа – это то, что есть ты. Суть. Узнаешь, но не смотри глазами. Поймешь, но не думай мыслью. Встретишь, но не ступай по земле».

Мне хотелось думать, что сказано это было об Алине. Чего мне действительно недоставало в жизни – так это родственной души. Человека, с которым не нужно было бы разговаривать, чтобы объяснить сложные движения мысли. Мысль вообще невозможно объяснить словами хотя бы потому, что самое простое мысленное рассуждение заключает в себе множество обертонів. Я говорю кому-нибудь: «Закрой, пожалуйста, окно», и кроме этого простого действия прошу еще обернуться ко мне и улыбнуться, потому что хотя из окна дует, но день сегодня хороший, солнечный, и настроение у меня тоже отличное, и еще я думаю о том, что, если окно закрыть, то муха, севшая на стекло снаружи, не попадет в комнату, и это хорошо, но, если закрыть окно, то в комнату не попадет с ветром и едва ощутимый запах скошенной травы – должно быть, сосед Мошик постригал утром свой газон, он всегда это делает по пятницам, потому что соблюдает субботу, а газон нужно постригать еженедельно, и в другие дни у него не получается – работа... И еще я думаю, что, если окно закрыть, то со стола не улетят на пол бумаги, ветерок уже приподнял одну из них, похоже на телекинез, как его показывал Тарковский в «Сталкере», очень эффектно – и если не знать, что это всего лишь ветер...

«Закрой, пожалуйста, окно» – и множество мыслей, с этим связанных, так и остаются невысказанными, а частично даже мной самим непонятыми, и только родственная душа, знающая меня, как себя, понимающая меня так, как я

не понимаю себя сам (разве не яснее видится со стороны?), способна ощутить, впитать, осознать, почувствовать десятки обертоновых мыслей, а может, даже глубокую философию, скрытую в простом обращении.

Автобус миновал поворот на Афулу, все светофоры на пути почему-то были зелеными, странное и редкое везение, и еще мне везло в том, что никто не сел со мной рядом, и я мог, положив сумку на соседнее сиденье, думать о своем, точнее – пребывать в том состоянии, когда мысли равновелики чувствам, а чувства – сути.

И в этом состоянии расслабленности я ощутил вдруг, что лечу в самолете на высоте одиннадцати тысяч метров (так только что сказал по громкой связи командир экипажа), в соседнем кресле крепко спит пожилой мужчина, голова его свесилась на бок, а окошко закрыто фиолетовой шторкой, потому что справа по борту яркое, опускающееся к закату солнце, оно слепило глаза, и я закрылась от него, будто темные очки надела, правда, цвет не мой, я не люблю фиолетового, и хорошо бы сейчас тоже вздремнуть, как этот сосед, но не дай Бог, если и моя голова так же будет покачиваться, как цветок на стебле, лучше не спать, к тому же, скоро принесут ужин, есть совсем не хочется, а вот чаю я бы выпила с удовольствием.

И не надо, Веня, со мной так – если ты пришел, если ты это сумел, то побудь рядом, дай мне на тебя посмотреть, нет, не в глаза, я уже насмотрелась в них в аэропорту, дай мне

посмотреть в себя, ведь ты – это и я тоже, правда? Я не знала, однажды увидела тебя во сне, это было давно, я была другой тогда, ты себе представить не можешь, какой я была, да и я себя ту, прежнюю, не понимаю, но это и не нужно. Я увидела тебя во сне и поняла, что пришло время, а потом проснулась в своем мире и стала ждать.

Ты тоже ждал?

Конечно, я ждал тебя много лет. Меня предупреждали, что в мир придет вторая половинка моей души. Когда ты пришла нынче ночью, я узнал тебя сразу.

Кто предупреждал? Да я же сам и предупреждал, наверное; впрочем, какое это имеет значение, если сказано было, что мы с тобой родственные души? И я пойму это, если не буду думать мыслью. Ты понимаешь, что это такое – не думать мыслью? Конечно, думать можно чувством, и это всегда правильнее. Но чувством не думают, чувством ощущают. Разве? Это не так, ты ведь моя родственная душа – ты должен понимать меня. Да, я понимаю. И еще было сказано: «Встретишь, но не ступай по земле». Конечно. По земле можно ступать ногами, но как можно прийти друг к другу, если идти пешком, в пыли, на красный свет светофора? Я встретил тебя в аэропорту и пришел к тебе – ногами, в пыли, на красный свет светофора. Нет, не так. Ко мне ты пришел сейчас, когда я одна, и разве что-то остановило тебя? Нет. Расскажи о себе. Как ты меня ждала. Как ждал ты.

И что теперь будет с нами.

С нами?

Со мной.

Я – это ты. Ты – это я. И не нужно ничего рассказывать – я знаю тебя, потому что себя я, конечно, тоже знаю.

Глава восьмая

Алина вернулась в Москву, а я – к себе, к своему компьютеру, виду из окна на Хермон и к Лике, не понявшей причины моего отсутствия и ждавшей дополнительных объяснений.

– Дело было, – уныло в шестой раз повторил я. – Отвозил в редакцию материал. Ну что ты меня пытаешь, в конце-то концов? Не за границу же я ездил – в Тель-Авив. И по делу, а не к любовнице.

Не нужно было говорить этого. Всегда у меня так – слово вылетает прежде, чем мысль успевает совершить над словом работу скульптора. Не то чтобы я был излишне разговорчив, скорее наоборот, Лика частенько жаловалась, что мне приятнее говорить с собой, чем с ней, и порой я обижаюсь, когда она просит меня что-нибудь рассказать, а мне кажется, что я уже это рассказывал, повторяться не люблю, но ведь рассказывал я самому себе, и только казалось, что – Лике. Но все равно – слова вырывались раньше мысли, если им вообще суждено было быть произнесенными. Почему я сказал о любовнице? Лике и в голову не пришло бы, что я способен ей изменить, она лишь хотела ясности – в какой редакции я был, какую статью отвез, почему утром о поездке не было и речи?

– Любовница? – растерялась Лика. – У тебя в Тель-Авиве

любовница?

– Нет, – терпеливо произнес я, кляня себя за несдержанность. – Я сказал, что ездил по делу, а не к любовнице, улавливаешь разницу?

– Улавливаю, – сказала Лика со слезами в голосе. – Значит, если бы не дела, ты поехал бы к любовнице?

– О, Господи! – вздохнул я и пошел на кухню заваривать чай. Нужно было сказать Лике правду. О том, что теперь я не один. С ней я был один, хотя нам обоим и казалось, что мы вместе, что мы – пара, и что нам хорошо. С Ликой я был один, а теперь нас двое. И даже больше того – я опять один, но нынешнее мое одиночество это одиночество пары. Объяснить Лике разницу я все равно не смог бы.

Чаю я насыпал слишком много, и вкус пропал, аромат стал терпким и чересчур насыщенным, пришлось долить кипятком, и это уже стал не чай вовсе, а коричневая бурда. Заваривать заново у меня не было ни желания, ни времени – разлил по чашкам то, что получилось, и понес в комнату, где Лика ждала меня, размышляя о том, когда я успел обзавестись любовницей в Тель-Авиве, если бывал там довольно редко, возвращался в тот же день – у меня просто времени не было на то, чтобы заниматься еще и женщинами.

Когда ты успел? – спрашивали ее глаза. Пришлось ответить.

– Лика, – сказал я, – когда ты на меня так смотришь, у меня прокисает кефир в холодильнике, а вместо чая получается

бурда, вот как сейчас. По-моему, ты этого пить не захочешь.

– Захочу, – сказала Лика и положила в чашку четыре ложки сахарного песка. Она любила сладкое, но от пирожных отказалась давно – сохраняла фигуру, – и потому пила исключительно сладкий чай, не понимая, как может человек – я, к примеру, – пить чай вообще без сахара.

И так было во всем. То, что нравилось мне, казалось Лике вульгарным и безвкусным, а то, что любила она, мне представлялось верхом ширпотреба, каковым и было на самом деле: женские романы, сладкий до приторности чай, яркая помада известной французской фирмы, название которой я никак не мог запомнить, Дуду Топаз с его несмешными хохмами, к тому же, трудно переводимыми с иврита.

– Веня, – сказала Лика. – Иногда мне кажется, что ты считаешь меня непроходимой душой. Я прекрасно знаю, что любовницы у тебя в Тель-Авиве нет, я бы почувствовала, если бы что-то такое произошло. И ездил ты по делам. Но почему ты мне не сказал, что закончил статью? И почему не сказал, что едешь – я бы тебя попросила купить мне в «Суперфарме» несколько шампуней. Я моюсь только «Джонсоном», а в нашей дыре этой фирмы нет второй месяц.

– Я и сам не знал до последней минуты, что поеду, – вяло возразил я.

Мой самолет только что приземлился в Шереметьево, и пассажиры засуетились, будто командир сообщил им о начавшемся на борту пожаре. Я сняла с полки баул и надела

кофточку. К выходу не торопилась – в зале прибытия меня ожидал Валера, мне совсем не хотелось его видеть, и хорошо бы придумать, как уехать из аэропорта, не встретившись с моим любезным. Это было невозможно, у Валеры нюх на мои передвижения – если не появлюсь вовремя на месте встречи, он перекроет своим телом тот единственный путь, который я себе выберу, у меня уже был опыт на этот счет, а затевать скандал сразу по прибытии не хотелось. Все мое время – время ссориться и время мириться, время играть роль и время быть собой.

– К черту Валеру! – воскликнул я и неловким движением опрокинул чашку. Чай разлился по скатерти, будто черный спрут раскинул свои щупальца.

– Какого Валеру? – удивилась Лика. – Убери чашку, я поменяю скатерть. Где у тебя запасная? В правом нижнем? Какой ты сегодня неловкий! Так что за Валера? Хруцкий из «Новостей»?

Лика знала с моих слов всех редакционных работников, а о Валерии Хруцком слышала только самое плохое. Странный это был человек, если не сказать больше. Виделись мы с ним вряд ли больше пяти-шести раз, но гадостей он мне сумел сделать столько, что хватило бы на несколько дуэлей со смертельным исходом. Когда я вел в «Часе пик» страничку научных новостей, Хруцкий, работавший тогда в этой газете, все уши прожужжал начальству, что более бездарной рубрики никогда не видел. И хотя читатели писали в редак-

цию совершенно иное, от работы мне было, в конце концов, отказано под странным предлогом экономии средств – не спорю, деньги действительно нужно экономить, но в данном конкретном случае речь об экономии не шла ни в коем случае, ведь ту же по величине газетную полосу начали забивать другими материалами, за которые платили (не мне – вот в чем была разница) те же или даже большие деньги.

Историй такого рода случилось со мной немало, и всегда на горизонте маячил Хруцкий. Конечно, Бог его наказывал – в отличие от меня, прощавшего своих врагов во всех жизненных обстоятельствах, верховный владыка нашего мира, в которого я, впрочем, не верил, наказывал Хруцкого почти сразу после его очередного на меня поклепа. Его регулярно выгоняли из всех газет, и потому он числил себя «независимым журналистом», так ни разу и не сопоставив даты своих увольнений с датами «наездов» на некоего Вениамина Болеславского.

– Нет, – сказал я, – при чем здесь Хруцкий? А впрочем, – я тут же поправился, – конечно, Хруцкий, кто же еще?

Не объяснять же Лике, что Алина, подхватив на плечо сумку (тяжелая, так и тянет к земле, хотя на самом деле довольно легкая, килограмма четыре, не больше – я очень сильно ощущал эту раздвоенность: будто у меня было два правых плеча, и на обоих висела сумка весом в четыре килограмма, одно мое плечо – женское – ощущало сумку как невыносимую тяжесть, а другое – действительно мое – вы-

держивало груз шутя и готово было потянуть еще вдвое), направилась к выходу из «зоны паспортного контроля», а там ее – меня! – действительно ждал Валера, и мне не хотелось его видеть ни сейчас, ни вообще.

– Где он еще нагадил, этот негодяй? – возмущенно сказала Лика, заменив темную скатерть на светлую, которую я терпеть не мог и хранил на самом дне бельевого ящика. – Неужели сказал что-то по поводу твоей статьи об опреснителях?

– А пес его знает, – отмахнулся я, направляясь к высокому мужчине в джинсах и клетчатой рубаше, стоявшему в первом ряду встречавших. Мужчина широко улыбнулся и протянул ко мне свои огромные руки. Я остановилась в двух шагах от него, опустила сумку и хотела сказать, что между нами все кончено, потому что ничего толком не было и быть не могло, но Валера, конечно, все понял не так, как мне хотелось, а так, как воображал сам и как хотелось ему в данный момент, – подошел, поднял сумку, легко перекинул через плечо, другой рукой прижал меня к груди, будто мешок, и поцеловал – к счастью, не в губы, я сумела увернуться, и он, конечно, почувствовал изменение в моем отношении, отстранился на мгновение, искра понимания мелькнула в его глазах, но исчезла, потому что понял он, как обычно, сам себя – сам для себя решил, что я устала с дороги, и потому мне не до обычных нежностей.

– Пойдем отсюда, – сказал он и потянул меня к выходу,

обняв за плечи. – Погода портится, сейчас дождь хлынет, не хватало только, чтобы ты простудилась, попав под ливень после израильского солнца.

– Ты просто тряпка, – сказала Лика. – Я бы на твоём месте давно набила этому типу морду. Конечно, если у человека нет совести, то лучше он от этого не станет, но тогда ты, по крайней мере, будешь знать, за что он тебя ненавидит.

– Валера, – взмолилась я, чувствуя, что не в силах буду сесть с ним в такси, а потом мчаться по мокрому шоссе, и он будет поглядывать в мою сторону, правой рукой то и дело касаясь моего плеча, локтя, колена... – Валера, извини, я очень устала, поймай мне машину, хорошо? Я поеду домой сама, а ты мне завтра утром позвони, нужно поговорить.

– Лика, – сказал я, чувствуя, что не в силах больше выдерживать собственную раздвоенность, умноженную на раздвоенность мира, – извини, я очень устал и хочу лечь. Завтра я тебе позвоню, хорошо? И мы поговорим.

Оба – Лика и Валера – посмотрели мне в глаза и поняли, что я говорю серьезно.

– Хорошо, – сухо произнесла Лика. – Я пойду, у меня тоже масса дел. С утра я завтра занята, а после обеда позвони.

– Сама? – удивленно произнес Валера. – Я поеду с тобой, о чем ты?

– Сама, – упрямо сказала я. – И не задавай лишних вопросов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.